В.В. Пестерев

# Организация населения в колонизуемом пространстве

монография

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**В.В. ПЕСТЕРЕВ**

# ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОЛОНИЗУЕМОМ ПРОСТРАНСТВЕ

**(ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ ЗАУРАЛЬЯ КОНЦА XVI – СЕРЕДИНЫ XVIII ВВ.)**

МОНОГРАФИЯ

КУРГАН 2005

УДК 94(57)
ББК 63
П 28

П 28 Пестерев В.В. Организация населения в колонизуемом пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI – середины XVIII вв.: Монография. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 237 с.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Курганского государственного университета.

**Рецензенты:**

Г.Е. Корнилов, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Уральского государственного педагогического университета;

А.А. Ломцов, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева.

**Научный редактор:**

В.В. Менщиков, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой отечественной истории Курганского госуниверситета.

Монография посвящена исследованию процесса организации населения в колонизуемом пространстве на материале Зауралья конца XVI – середины XVIII вв.: выявлению внутренних и внешних факторов такой организации; раскрытию пространственных представлений субъектов колонизационно-осваивающей деятельности и степени влияния этих представлений на организацию селитебной структуры; реконструкции механизмов пространственной организации отдельных поселений и поселенческих комплексов на локальном, субрегиональном и региональном уровнях.

Книга предназначена для научных работников, преподавателей и студентов вузов, аспирантов и всех, кто интересуется теорией и историей русской колонизации.

ISBN 5-86328-681-4

© Пестерев В.В., 2005
© Курганский государственный университет, 2005

# ВВЕДЕНИЕ

Очерки, представленные в настоящей монографии, не составляют последовательного и цельного повествования, хотя, так или иначе, встраиваются в общую канву заявленной темы. По сути, здесь представлена попытка создать некий нелинейный нарратив: отдельные очерки являются разновременными обращениями автора к тем или иным проблемам и приведены здесь без серьезной редакторской правки со всеми повторами, противоречиями, недомолвками.

Часть очерков является почти дословными выдержками из кандидатской диссертации, защищенной в сентябре 2002 года в Курганском госуниверситете. Остальные выходили в виде отдельных статей в 1999-2004 годах.

Каждый из очерков представлен своим предметом рассмотрения, своим строем доказательств, и даже своим стилем. Тем не менее, несмотря на явную сюжетную мозаичность, тема пространства, его восприятия и репрезентации проходит красной нитью по ткани повествования и может быть названа основной. Именно эта тема является сюжетообразующей в композиции отдельных очерков и в логике комплектования разделов.

Хотя довольно обширный документальный материал, используемый в монографии и служащий иллюстрацией теоретическим построениям автора, имеет вполне конкретную пространственно-временную привязку (Зауралье конца XVI – середины XVIII веков), территориальные и хронологические рамки работы второстепенны и во многом условны. Во всяком случае, нас всегда больше интересовало пространство в сознании людей, нежели пространство, этих людей вмещающее…

# 1. КОЛОНИЗУЮЩИЙ СОЦИУМ И ПРОСТРАНСТВО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

## 1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГЕОПРОСТРАНСТВЕ: ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И ГРАНИЦЫ ИХ ПРИМЕНИМОСТИ

История изучения организации населения в пространстве – от античных этногеографических описаний до современных формализированных социогеографических построений – насчитывает не одно столетие. Вместе с тем, поскольку универсальность форм человеческого общежития привела лишь к относительно небольшому разбросу вариантов социопространственной организации, модели ее описания не представляли и не представляют значительного разнообразия.

Сегодня изучением пространственной организации населения занимаются преимущественно в рамках исследований систем расселения или поселенческих (селитебных) структур. На организацию населения, впрочем как и на весь спектр процессов и структур, имеющих пространственное проявление, неизбежно проецируются современные геометризированные и гомогенизированные представления о макропространстве. Уже сформировался устойчивый стереотип – при упоминании поселенческой структуры или пространственной организации населения представлять себе ее геометрический рисунок. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что неявное геометрическое (графическое) отображение социальной структуры есть попытка описания ее в рамках (и средствами описания) *физического пространства*.

Будучи «прозрачным», физическое пространство выступает для общества, ограниченного поверхностью геоида, в виде некой абстрактной двухмерной «подкладки». В принципе, это дает возможность описания социума средствами понятийного аппарата, употребляемого по отношению к физическому пространству, однако границы, в пределах которых такое описание будет научно корректным, очень узки. Терминологическим и операционным инструментарием теории физического пространства (по сути, средствами геометрии) могут быть отражены (как правило, графически) лишь формальные стороны социальной структуры: ее конфигурация, локализация ее элементов и их соотнесенность на поверхности геоида, их плотность и концентрация, векторы информационно-вещественных потоков или взаимосвязей и некоторые другие. Объяснены эти формальные аспекты, не говоря уже об аспектах содержательных, в рамках физического пространства быть не могут, поскольку физическое пространство на мак-

роуровне изотропно, т.е. тождественно самому себе в любой своей точке, в то время как социальная структура предполагает нахождение свое в пространстве анизотропном (иначе не может быть объяснена ее дифференцированность). Попытки школы так называемой *социальной физики* Дж. Стюарта и В. Уорнтца[1], использующей в своих построениях физические формализмы, объяснить пространственные проявления общества чисто физическими закономерностями интересны, но, к сожалению, малоубедительны. Чрезвычайная сложность реальных, исторических социальных структур и их пространственных проявлений все же не позволяет рассматривать их через призму столь радикальных редукционных упрощений. Во всяком случае, сложность используемых для описания социума физических метафор должна быть одного порядка со сложностью самих социальных структур.

Теория физического пространства так и не стала ни распространенной, ни даже сколько-нибудь известной среди концептуальных основ, используемых для описания пространственных проявлений реальных социальных организмов. Хотя отдельные признаки ее (примат формы над содержанием, описания над объяснением, дихотомичность социальной структуры и ее пространства и др.) в неявном виде наблюдаются сегодня в большинстве западных социально-географических направлений и школ[2].

Несомненно определяющими для историографии рассматриваемой проблемы (в плане различия подходов к ее решению) стали разногласия по поводу географического пространства как возможного фактора организации населения. Большинство из имеющихся на сегодняшний день версий решения этой проблемы либо признают в географическом пространстве искомый фактор («географический детерминизм»), либо не признают («географический индетерминизм»), либо занимают промежуточную, «компромиссную» позицию («географический поссибилизм»).

Рассмотрение *географического пространства* в качестве фактора пространственного проявления социальных структур имеет наиболее давние (традиции античного и новоевропейского «геогра-

---

[1] **Саушкин Ю.Г.** Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М.: Просвещение, 1980. – С. 193; **Джонстон Р.Дж.** География и географы: Очерк развития англо-американской географии после 1945 года. – М.: 1987. – С. 97.

[2] Наиболее явно это прослеживается в англоязычной социальной географии, где с середины прошлого столетия особенно сильное развитие получили направления, имеющие в качестве первоосновы так называемую «хорологическую концепцию» А. Геттнера (К. Зауэр, Р. Хартшорн и др.).

фического детерминизма») и, с точки зрения здравого смысла, наиболее прочные позиции. Своей чрезвычайной сложностью, дифференцированностью, анизотропностью географическое пространство представляется максимально подходящим на роль главного фактора, определяющего такую же сложность, дифференцированность и анизотропность социальных структур. Кроме того, социум является (своими материально-вещественными проявлениями) частью географического пространства, т.е. видимым действующим в нем, фактором. Во многом именно этот факт лежит в основе устойчивой практики сведения общества к явлению геопространства, не имеющему по процедуре описания качественных отличий от естественно-географических и биологических пространственных структур. Тем самым прямое взаимодействие общества и вмещающего его географического пространства считается как бы очевидным.

Современные течения географического детерминизма (энвайронментализма), идущие от идей Ф. Рихтгофена, К. Риттера, Ф. Ратцеля[1], исходят в своих построениях из «очевидного» предположения о действиях социума в пространстве как совокупности реакций на внешние раздражители: климат, почвы, характер рельефа, растительности и т.д. Тем самым отношения «общество–среда» сводятся к процессу приспособления социальной структуры к фактам географического пространства.

Однако отсутствие явных механизмов, которые бы объясняли прямое воздействие географической среды на общество, а также многочисленные исторические примеры, когда факты геопространства (например, ресурсы) не оказывали никакого влияния на один социальный организм, а для другого оказывались определяющими, поставили под серьезное сомнение факт сколько-нибудь прямого влияния географической среды на общество. Реакция социума на те или иные факты геопространства оказывается зависимой от свойств самого социума. Это привело к абсолютизации роли самой социальной структуры в процессе социально-пространственной организации в рамках направления *географического индетерминизма*.

Истоки этого направления можно найти в ряде социально-теоретических и экономико-географических исследований XIX столетия – работах Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, И.Г. Тюнена и др.[2] Представленный в своих зрелых формах теорией «центральных мест»

---

[1] **Голд Дж.** Психология и география: Основы поведенческой географии. – М.: Прогресс, 1990. – С. 7, 51-53.

[2] **Саушкин Ю.Г.** Указ. соч. С. 52-53; **Хаггет П.** География: синтез современных знаний. – М.: Прогресс, 1979. – С. 438-449.

В. Кристаллера и А. Лѐша[1] и ее современными модификациями, географический индетерминизм сделал прорыв в познании форм пространственного измерения населения. Главной его заслугой стало признание серьезной роли (правда, в рамках этих направлений абсолютизированной) внутрисоциальных и, шире, общесистемных факторов организации населения в пространстве. И хотя индетерминистские концепции не получили сколько-нибудь широкого распространения в качестве метода познания реальных, исторических форм организации населения, они стали теоретической основой в программно-планирующей деятельности по оптимизации и конструированию этих форм.

Так называемый «географический поссибилизм», идущий от «географии человека» П. Видаля де ла Блаша, был призван компенсировать недостатки детерминизма и индетерминизма и, в то же время, объединить в себе их очевидные достоинства. Основываясь на мнении о рациональном в своих действиях человеке, поссибилизм исходит в своих построениях из модели о сознательной оптимизации человеком некоторой совокупности альтернативных видов жизнедеятельности с природной средой, выбирая в конечном итоге тот вид жизнедеятельности, который наилучшим образом подходит к данной среде[2]. Здесь среда выступает в роли пассивной, инертной арены для деятельности активного и рационального человека. Однако, как верно заметил Дж. Голд, кажущаяся противоположность поссибилизма идеям географического детерминизма обманчива[3]. И та, и другая концепции рассматривают географическую среду как неизменную и объективную данность, к которой человек **в любом случае** вынужден приспосабливаться.

Географический поссибилизм явился основой или просто концептуально близок тем теоретическим схемам, которые используются современными школами «социоэкологии», «географии человека» и исторической географии. В большинстве из них процесс взаимодействия общества и среды представлен в виде сложного сопоставления возможностей географического пространства с возможностями действующей в его рамках социальной структуры.

Крайне интересными представляются современные попытки объяснения поведения человека в географическом пространстве в рамках так называемой «географии восприятия», или «поведенче-

---

[1] **Джеймс П., Мартин Дж.** Все возможные миры: (история географических идей). – М.: 1988. – С. 581-582; **Хаггет П.** Указ. соч. С. 415-427.

[2] **Джонстон Р.Дж.** Указ. соч. С. 63.

[3] **Голд Дж.** Указ. соч. С. 54.

ской географии». Эта область исследований на стыке психологии и географии, еще не имеющая даже общепринятого названия, создала весьма продуктивную модель человеческого поведения в пространстве. Но по признанию одного из ведущих специалистов в этой области, Дж. Голда,

> «поведенческая география в основном фокусирует свое внимание на индивиде, не стремясь к изучению проблем на уровне социальной группы»[1].

Узость этой модели еще и в наличии альтернативных психологических теорий, которые могут стать основой ее создания (пока здесь господствует бихевиоризм). Естественно, что данные, полученные в результате применения той или иной теории в построении модели, будут различны.

Наиболее важным методологическим достижением «поведенческой географии» является практика непосредственного обращения к человеку, к его жизненному миру в процессе объяснения пространственных проявлений человеческого общества. В этой связи представляется весьма перспективным обращение к феноменологическим моделям философии и социологии[2], рассматривающим поведение (в том числе и пространственное) социальных субъектов – индивидов, социальных групп, общества в целом – в качестве производной от особенностей конструируемых ими миров.

*2002*

## 1.2. К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СОЦИУМ

В настоящее время вопрос о воздействии географической среды (и внешней среды в целом) на общество относится обыденным сознанием (и научным обыденным сознанием, в частности) скорее к разряду самоочевидных фактов, нежели к серьезным и еще далеко не решенным научным проблемам.

Считается общепринятым, что элементы географической среды (климат, характер растительности, рельефа, почвенные и гидро-

---

[1] **Голд Дж.** Указ. соч. С. 28-29.

[2] См. напр.: **Гудмен Н.** Способы создания миров. – М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001; **Бергман П., Лукман Т.** Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995; **Серл Дж.Р.** Конструирование социальной реальности. – М., 1999.

ресурсы и т.д.) играют роль неких внешних раздражителей, вызывающих соответствующие приспособительные реакции социального организма. Дискуссии продолжаются лишь по поводу конкретных форм такого воздействия, а также о включении того или иного элемента географической среды в набор факторов, определяющих социальное развитие.

Однако данная модель практически никак не объясняет и не комментирует ряд «странностей», например, загадочную избирательность, с которой географическая среда влияет на различные социальные организмы и отдельных их представителей (для кочевника «прозрачно» плодородие почвы; полупервобытный охотник и собиратель «не видит» ископаемых богатств под своими ногами; представитель развитой городской культуры вообще не склонен видеть вовне хоть что-нибудь, географическая среда его интересует во многом лишь в плане ее рекреационных возможностей).

Непредвзятый взгляд на проблему показывает, что воздействие географической среды на общество оказывается опосредованным свойствами самого общества. Следует, однако, сделать несколько оговорок.

Во-первых, мы не рассматриваем здесь чисто физические воздействия окружающей среды (от космических излучений до природных катаклизмов), оказывающие влияние на человека как на существо биологическое, часто неосознаваемые им и почти не влияющие на него как на существо социальное. Во всяком случае, на уровне социума речь может идти лишь об интерпретации этих воздействий, а не о них самих (например, традиционное оправдание неурожаев гневом божьим, а не отсталостью агротехники или сложными природными процессами). Иными словами, под воздействием географической среды на социум мы понимаем именно его (воздействия) интерпретацию, которая несомненно опосредуется свойствами самого социума.

Во-вторых, мы не рассматриваем в качестве воздействия географической среды так называемые «граничные условия», в которых социальный организм вынужден развиваться. Отсутствие тех или иных факторов само по себе фактором не является. Поэтому практика оправдания своей бедности отсутствием тех или иных природных условий, весьма популярная в современной отечественной историографии, представляется нам методологически некорректной и научно бесплодной. Воспользовавшись терминологией А. Тойнби, можно утверждать, что неадекватность ответа не может быть оправдана сложностью и замысловатостью вопроса (вызова). Во всяком случае,

скудость или отсутствие условий для ведения, скажем, земледелия могут быть преодолены изменением векторов развития в сторону других способов добывания средств жизнеобеспечения – торговлей, промышленностью, в крайнем случае – колонизацией и военными захватами. Таким образом, и воздействие граничных условий на общество напрямую зависит от свойств и установок последнего.

Предлагаемый нами взгляд на характер взаимоотношений географической среды и общества имеет и определенное теоретическое обоснование. Приведем два базовых (аксиоматических) положения информационной теории[1], имеющие непосредственное отношение к рассматриваемой нами теме.

1. *Информация есть изменение параметра наблюдателя (субъекта), вызванное взаимодействием последнего с объектом* (определение В.И. Шаповалова[2]). Наполняя эту отвлеченную формулу конкретикой рассматриваемой проблемы, можно вполне уверенно отождествить воздействие, оказываемое географической средой на социум, с информацией, поступающей извне (предполагается, что бóльшая часть внешней информации исходит именно от географической среды). Кроме того, именно внешняя информация формирует у социума тот или иной образ среды и, по сути, является репрезентантом последней.

2. *Информация во многом производна от структуры субъекта, являющейся информационным фильтром.* По большому счету, субъект не способен увидеть вовне ничего из того, чего не было бы в нем самом. Иными словами, внешнюю среду (в том числе и среду географическую) можно уподобить чрезвычайно сложному нелинейному зеркалу, в гранях которого социум «видит» лишь свое собственное отражение.

Итак, не географическая среда определяет особенности морфологии и метаболизма общества, но сущностные свойства последнего определяют какие черты внешней среды будут «увидены» и «впечатаны» в его структуру, а какие нет.

Несмотря на все вышеизложенное, нет смысла отрицать возможность самого серьезного воздействия среды на развитие общества. Причем, эта возможность не противоречит приведенным теоретическим положениям, но является их логическим следствием. Если информация, которую мы отождествили с воздействием среды на

---

[1] Под информационной теорией понимается комплекс наиболее общих (аксиоматических) положений, еще не упорядоченных в общую систему, но активно используемых сегодня в рамках различных научных дисциплин.

[2] **Шаповалов В.И.** Энтропийный мир. – Волгоград: Перемена, 1995. – С. 8.

социум, производна от структурных свойств последнего, то можно даже чисто логически вывести условия, при которых объем этой информации, а значит и степень воздействия, резко возрастают. Так, ломка информационных фильтров, т.е. рост хаотичности структуры социального организма, неизбежно повлечет за собой резкое расширение спектра воспринимаемой информации. Всплески влияния средовых факторов на развитие реальных, исторических обществ приходятся как раз на максимумы неупорядоченности последних (например, в процессе колонизации). Хаос есть идеальное зеркало, и осторожное обращение с этим «инструментом» является не только важным фактором развития системы, но и залогом ее выживания в условиях нестабильности параметров среды.

*2003-2004*

## 1.3. К ТЕОРИИ КОЛОНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ОБЩЕСТВО И ЕГО ИНФОРМАЦИОННО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Необходимость построения теории обычно диктуется недостаточностью чисто описательного, идеографического подхода к интерпретации некоторого комплекса эмпирического материала. Как правило, существует одна или несколько принципиальных проблем, решить которые представляется возможным лишь сделав «проблемную» область объектом теоретического осмысления. Причем, именно на решение этих проблем и будет ориентирована сама процедура теоретизации.

Проблема создания теории колонизационных процессов есть, прежде всего, проблема ответа на вопрос о сущности структурной дифференциации колонизирующего общества на колонию и метрополию, а также о факторах сохранения их тождества и возникновения различий. По большому счету построение колонизационной теории должно решить проблему роли внешних, средовых факторов в развитии и качественном своеобразии социального организма.

Создание теории того или иного класса процессов предполагает наличие плодотворной метафоры, «обнажающей» сущность исследуемого, структурирующей эмпирический материал и направляющей познавательно-логическую деятельность исследователя. Метафорическим отражением сущности колонизационных процессов может стать *взаимодействие*, субъектами которого следует считать социум (общество как социальный организм) и среду (совокупность внешних условий социума). Поскольку любое взаимодействие пред-

полагает процесс обмена информацией между взаимодействующими сторонами (субъектами взаимодействия), считаем целесообразной и эвристически плодотворной информационную интерпретацию процесса колонизации. Такое «прочтение» проблемы построения колонизационной теории не претендует на всеохватность и исключительную глубину в истолковании эмпирических данных, но, в отличие от других теоретических схем, позволяет ответить на поставленные перед ней вопросы.

Ключевое в данном контексте понятие *информация* может пониматься двояко (мы опустим его обыденные и узкоспециальные определения): во-первых, как количественно не выражаемая степень организации системы (здесь информация синонимична структурности); во-вторых, как мера модификации субъекта взаимодействия[1] (информации тем больше, чем значительнее изменения, претерпеваемые воспринимающей ее системой). Иными словами, первый аспект характеризует внутреннее состояние субъекта взаимодействия, его структуру; второй же отражает степень устойчивости/неустойчивости этой структуры во взаимодействии с объектом (другой структурой или средой). Взаимообусловленность этих аспектов позволяет на целостной основе раскрыть механизмы процессов взаимодействия в рамках оппозиции «социум – среда».

Можно с полным основанием утверждать, что именно структурная информация, т.е. состояние самого субъекта восприятия, в значительной степени определяет характеристики воспринимаемой информации и, следовательно, характер и глубину своей модификации в процессе взаимодействия с объектом. В этой связи необходимо рассмотреть социальную структуру как структуру информационную.

Социальная структура в рассматриваемом контексте представляет собой информационное инобытие социального организма, аккумуляцию его эволюционного пути, воплощение его истории, некогда воспринятой и объективированной информации. Эта информация проявляется как в материально-вещественных атрибутах социума, так и в его особом семиотическом (знаковом) пространстве, позволяющем не только сохранять (дублировать) структурную информацию, но и оперировать ею. Кроме того, структурная информация может быть актуальной, иначе говоря, составлять сам социум или участвовать в его функционировании, а может быть потенциальной, т.е. образовывать некое поле виртуальной, возможной, но не реализо-

[1] По-видимому, не случайно, что этимологическая основа латинского термина *informatio* обозначает «придание чему-либо какого-либо образа», «возведение в определенную форму».

ванной информации, создающей необходимую для нормального существования социума степень вариативности, стохастичности. Между актуальной и потенциальной информацией в структуре социума нет четких границ, постоянно происходит проверка «на прочность» структуры, а также отбор и выбраковка ее возможных альтернатив.

Чтобы получать информацию об объекте необходимо иметь соответствующие средства преобразования входящих сигналов, которые бы позволяли воспринимать и интерпретировать эти сигналы как осмысленные. Все это напоминает процедуру «распаковки» информации в знаковых системах, в связи с чем считаем уместным обозначить информацию как *текст*, ее восприятие как *считывание*, а процесс ее объективации в структуре социума как *интерпретацию*. Согласно этой логике, социальная структура, представленная в виде сложного нелинейного *текста*, неизбежно становится информационным фильтром, пропускающим через свои «врата восприятия» только то, что может быть воспринято и отсекающим все остальное, являющееся для социума «прозрачным», «невидимым». Таким образом, можно констатировать не просто избирательность восприятия, но избирательность тесно связанную со свойствами самой социальной структуры: *текст* может быть «дописан» или изменен только «понятными» средствами и по «понятным» правилам. Кажущаяся ущербность социума в его способности к восприятию, причем надо заметить, ущербность тщательно оберегаемая и постоянно воспроизводимая, на самом деле является гарантом существования и развития социального организма. Дело в том, что среда, окружающая социум, заведомо превышает возможности социальной структуры по ее восприятию и выступает, по сути, в роли хаоса. Помня о том, что взаимодействие есть процесс информационного обмена, по мере которого взаимодействующие стороны все больше «отражаются» друг в друге, информационная «открытость» социальной структуры среде неминуемо инициирует обвал деструктивных процессов. Только узость в восприятии среды и трансформация ее «по образу своему и подобию» (от чего зависит степень допустимой «открытости» среде) делают само существование социального организма возможным.

В свете вышеизложенного становится возможной информационная трактовка таких терминов как *освоение* и *колонизация*.

Вообще, *освоение* обычно рассматривают в его хозяйственном аспекте: как присвоение ресурсов жизнеобеспечения. Такое неоправданно узкое понимание не отражает всего богатства семантики термина и приводит к реальному сужению области научных исследований по этой проблематике. Предположение об информационном ха-

рактере процесса освоения значительно расширяет эвристическую базу и, следовательно, пространство деятельности исследователя в этом направлении.

С точки зрения информационной теории любая внешняя информация для воспринимающей структуры есть ресурс (материально-вещественный, энергетический, информационно-технологический, временной). *Освоение* или присвоение (делание «своим», на что указывает и этимология термина) этого ресурса означает, таким образом, что субъект освоения «увидел» в осваиваемом объекте что-то «знакомое», некие черты самого себя. Иными словами, мерой освоения может быть названа степень «узнавания» объекта, нахождения в нем «знакомых» черт. Причем, основывается ли эта «знакомость» на реальных структурных аналогах воспринимающего и воспринимаемого или на превратно интерпретируемой, недостаточной или недостоверной информации большого значения не имеет (если, конечно, эта ошибка не фатальна для осваивающего субъекта). Кроме того, все это делает принципиально возможным резкое увеличение степени освоенности объекта путем направленного увеличения его «похожести» на субъект, вплоть до их полного слияния.

Процесс освоения, как и любой другой процесс получения информации, является потенциально опасным для субъекта восприятия. И часто для него может оказаться жизненно важным не какую информацию он получил, а от получения какой информации ему удалось уклониться. Как отмечал С.П. Расторгуев,

> «у каждой информационной системы есть такие вопросы, отвечать на которые для нее опасно, и ей надо уметь проводить различие между тем, что можно себе позволить увидеть или понять и чего нельзя»[1].

Особенно уязвимым для модифицирующего воздействия исходящей извне информации субъект становится в условиях повышенной хаотичности его структуры и, следовательно, слабости его информационных фильтров (в нашем случае в процессе колонизации). В этом случае «освоению» со стороны внешней среды подвергается сам субъект. Таким образом, именно степень хаотичности структуры определяет ту грань между активным по определению *освоением* и пассивным *приспособлением*, на которую ставит эту структуру новая информация.

---

[1] **Расторгуев С.П.** Философия информационной войны. – М.: Autopan, 2000. – С. 223.

Термин *освоение* является родовым по отношению к термину *колонизация.* Под колонизацией понимается процесс максимального преобразования объекта освоения, превращение его в субъект. Как правило, подобная степень освоения достигается путем масштабного переноса структурной информации из метрополии в колонию (заселение), либо путем включения осваиваемых реалий в структуру функционирования осваивающего субъекта, придающих колониальной структуре максимальное сходство со структурой метрополии.

Начальные этапы колонизации, как правило, характеризуются наличием особых информационных фильтров (главным образом фильтры *цели*), организующих определенным образом поступающую от среды информацию (в том числе *информационный шум*) и определяющих особенности ее интерпретации (объективации в социальной структуре). Подобная узконаправленность в считывании средовой информации и, соответственно, значительное упрощение колониальной части социальной структуры являются важным приспособительным фактором. Это позволяет решать конкретные задачи колонизации и в то же время свести к минимуму мутационное влияние среды на самоорганизующуюся колониальную структуру. Дело в том, что даже та доля «открытости» среде, которой обладает метрополия, делала бы колонию весьма уязвимой, поскольку последняя в отличие от метрополии обычно не обладает (по плотности информационных носителей, как людских, так и материально-вещественных) информационным фильтром достаточной мощности. Единое семиотическое поле и непосредственный опыт колонистов остаются едва ли не единственной формой сохранения структурной информации в начальный период колонизации (именно этим объясняются известная консервативность и трепетное отношение к традициям, столь характерные для колоний). В свою очередь, чрезмерная «открытость» среде и относительная слабость информационных фильтров могли обусловить рост хаотичности колониальной структуры, что, с одной стороны, способствовало бы более адекватному ее реагированию на факты среды, но, с другой стороны, инициировало бы процессы дивергенции (расхождения квалифицирующих признаков) колонии и метрополии.

Следует, однако, различать понятие структурной целостности колонии и метрополии и понятие их структурной тождественности. В первом случае речь идет о целостности социального организма вне зависимости от степени различия составляющих его частей. Нарушение этой целостности означает распадение социума или, если угодно, «отпочкование» колонии от метрополии с образованием собст-

венного социального организма с той или иной степенью независимости от метрополии. Причем, необходимо уяснить, что распадение целостности вызывается не структурными различиями колонии и метрополии, а наличием информационных фильтров между ними. Так, например, колония может использовать фильтр цели не только для «просеивания» внешнесредовой информации, но и для восприятия информации, исходящей от метрополии, что неизбежно повлечет за собой усиление центробежных тенденций. При этом степень структурной тождественности колонии и метрополии может быть достаточно высокой. Во втором случае имеют значение лишь качественные различия между колонией и метрополией, не связанные, однако, с закономерным упрощением колониальной структуры. Основным фактором, трансформирующим колониальную структуру, является средовая информация. Однако, согласно давно подмеченному факту, массово колонизуются только те территории, которые обладают максимальным морфологическим сходством с местами выхода колонистов. Иными словами, только *осмысленные* факты среды ведут к структуризации населения, только для этих фактов организующаяся колониальная структура может найти соответствующие «паттерны поведения» и, следовательно, оправдать свое существование. Тем не менее, колония не есть простое повторение метрополии.

Во-первых, считывание средовой информации есть интерпретация, т.е. достаточно субъективно (в качестве социального субъекта могут рассматриваться и индивид, и социальная группа, и общество в целом). Вследствие этого, вполне допустимы ошибки, когда действия социального субъекта, основанные на неверно осмысленных фактах, не являются адекватными обстоятельствам, что может привести к серьезной трансформации части колониальной структуры или ее уничтожению. Любой сколько-нибудь крупный колонизационный процесс, известный истории, сопровождался возникновением маргинальных групп колонистов, попадавших в непривычное средовое окружение, не имевших возможности следовать своей традиционной структурной информации (а значит и сохранять ее) и испытывавших различные стадии аккультурации и деэтнизации.

Во-вторых, отсутствие предопределенности в формообразовании колонии обусловлено и тем обстоятельством, что поступающая от среды информация всегда избыточна. Иными словами, поведение социума есть процедура выбора одной из ряда возможных альтернатив, т.е. вероятностно. Хотя наличие цели как дополнительного информационного фильтра отграничивающего актуальную информацию

от потенциальной все же делает принципиально возможным прогнозное моделирование колонизационных процессов.

В любом случае, по количественным и качественным показателям инноваций в колониальной структуре можно судить о степени новизны поступающей информации. Тем самым становится возможным судить о степени различия между местом выхода и местом водворения колонистов не по их объективным характеристикам как они есть, а по их восприятию социумом. Очевидно, что в этом случае наше представление о воздействии средовых условий на социальную структуру окажется более объективным. Как бы то ни было отправной точкой исследования колонизирующего общества должно являться выяснение его свойств как информационной структуры; исследование свойств колонизируемой среды неизбежно будет носить вторичный, подчиненный характер.

Обращение к такому казалось бы отвлеченному и абстрактному понятию как *информация* в решении частной теоретической проблемы продиктовано не только чисто академическим интересом, но и некой интуитивно осознаваемой актуальностью. Еще совсем недавно казавшаяся вполне безобидной информация предстает сегодня в роли мощнейшего модификатора социальных субъектов: от отдельного индивида до претендующих на мировое лидерство империй. В этой связи особое значение приобретают исследования, ставящие своей целью познание исторических форм информационного воздействия. Их результаты должны дать реальную оценку последствий резкого изменения качества и условий приема обществом внешней информации (как это происходит, например, при сломе информационных фильтров или в процессе колонизации). Практическим же итогом этих исследований может стать выработка конкретных рекомендаций по своевременному и адекватному реагированию на опасную для целостности и качественного своеобразия общества информацию, поступающую извне.

*2000*

## 1.4. ОБЩЕСТВО КОЛОНИЗУЮЩЕЕ: ЭКСПАНСИЯ, ДИССИПАЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ

Целостность любой развивающейся системы основана на сохранении ею своей качественной определенности в диахронном (временном) и/или синхронном (пространственном) аспектах. Социальный организм утверждает и воспроизводит свою целостность либо преемственностью исторического развития, либо территориально

выраженным качественным своеобразием, отличающим его от внешней среды и других социальных систем. Однако, если исторический аспект целостности социума, традиционно привлекая пристальный интерес гуманитариев, уже получил достаточное освещение в исторических и социологических исследованиях, то пространственная сторона этой целостности до сих пор находится на периферии их внимания. Несколько более значительное место этот аспект занимает в социально-географических исследованиях. Вместе с тем, методологические трудности, с которыми сталкиваются географы и историко-географы в процессе идентификации такого рода целостностей – социотерриториальных комплексов, все же не позволяют говорить о достаточной разработанности данной проблемы.

Очевидно, что основное затруднение представляет критериальное определение социотерриториальной целостности. Бытующая по сей день практика сведения пространственных границ социальной системы почти исключительно к ареалу распространения ее управленческих структур (главным образом, государственно-административных) представляется не вполне методологически корректной. Если такая редукция бывает обычно оправдана для территориально стабильного социума, то попытка идентификации пространственной целостности колонизирующего общества путем простого наложения его основных ареальных (монофакторных) пространственных характеристик зачастую оканчивается неудачей. На наш взгляд, признаки, квалифицирующие расширяющийся социопространственный организм как целое, имеют значительно более сложную структуру и различаются по принципу организации и уровню доминирования в ряду других признаков.

Целостность как категория интегральная может быть определена по двум формальным критериям: интегрально-структурному и интегрально-однородному. Если первый, применительно к нашей проблеме, вычленяет макроструктуры, интегрально связывающие социум в единое целое (государственно-административная, военно-административная, экономическая, социально-стратификационная структуры, инфраструктура и др.), то второй выделяет такую целостность по признаку ее интегральной однородности (этнокультурной, социальной, хозяйственной, религиозной и др.). Не все указанные критерии в равной мере являются квалифицирующими признаками социальной целостности. Представляется возможным и целесообразным выделение доминантных критериев или их комбинаций, являющихся безусловным признаком наличия таковой. Возможность подобной редукции обусловлена значительным упрощением структу-

ры социума в процессе колонизации, сведением структурного и однородного единства колонизируемых территорий и метрополии до одной или несколько монофакторных пространственных характеристик. Однако, как было выше отмечено, ареалы их территориально полностью не всегда совпадают, поэтому полагаем, что безусловным признаком целостности все же следует считать комбинацию как минимум двух таких характеристик – однородного в том или ином смысле населения и связующей его государственно-административной структуры – создающих крайне упрощенную, но все же целостность метрополии и колонизуемых ею территорий. В дальнейшем, как правило, возникает тенденция к их максимально полному критериальному единству.

По нашему мнению, именно такой подход к определению социальной целостности во многом позволяет избежать полемики, подобно той, которая возникла в отечественном сибиреведении относительно приоритета государственного или вольнонародного факторов в русской колонизации Сибири. Только интегрально-структурные или только интегрально-однородные факторы не способны быть показателем реальной целостности. По отдельности они всего лишь обеспечивают формальную возможность ее создания, которая становится актуальной только при ареальном совпадении этих факторов.

Помимо трансформации пространственной целостности колонизирующего общества, проистекающей из «расслоения» квалифицирующих ее признаков и несовпадения ареалов их территориальной экспансии, процессу колонизации свойственны различные явления расширения, распадения и воспроизводства целостности, являющиеся результатом взаимодействия социальной системы и ее средовых условий.

Процессы трансляции, модификации и диссипации целостности зависят главным образом от двух групп факторов – количественных и качественных. Под количественными (чисто пространственными) факторами понимается: численное выражение колонизирующего населения, плотность и конфигурация его территориального размещения, удаленность от метрополии и интенсивность связей с ней. Информация, понимаемая в данном контексте как совокупность (или система) устойчивых представлений и стереотипов переселенцев относительно привычной структуры внутрисоциальных связей и отношений, особенностей восприятия среды и отдельных ее фрагментов, а также по поводу ресурсов жизнеобеспечения и способов их добычи (присвоения или производства), составляет качественные факторы. Сохранение социальной системой своей целостности в

процессе колонизации во многом зависит от степени адекватности информационного наполнения этой системы новым средовым условиям, либо от возможностей самой системы к направленной трансформации этих условий. Количественные факторы в данном случае будут лишь усиливать или, наоборот, ослаблять влияние средовых условий на социальную целостность.

Традиционно процесс колонизации представляется как простое «продолжение» колонизующего общества в геопространстве, как процесс территориальной экспансии социальной целостности. Несмотря на отмеченные нами выше явления упрощения и «расслоения» этой целостности, данное представление действительно отражает некоторые механизмы реальных колонизационных процессов.

Колонизация как медленное «сползание», инфильтрация населения, осуществляющаяся с ведома или под контролем административных структур, характеризуется малой скоростью территориального расширения, небольшим расстоянием единичных миграций и максимально полным переносом структурной информации из метрополии. Подобная экспансия целостности имеет место, как правило, на периферии основных колонизационных потоков или очагов старого заселения при максимально близком морфологическом сходстве мест выхода и мест водворения поселенцев.

Большинство процессов колонизации, однако, так или иначе связано с временным разрывом целостности и сопряжено с процессами самоорганизации. Несмотря на то, что самоорганизация в данном случае будет являться во многом репродуцированием, воспроизведением старой структурной и однородной целостности, здесь как нигде значительнее будет сказываться влияние средовых условий. Вместе с тем, согласно давно подмеченному факту, массово колонизируются как правило лишь те территории, которые максимально близки по своим характеристикам местам выхода. Тем не менее, процессы диссипации целостности, затрагивая в основном периферийные маргинальные группы колонистов, попадавших в непривычное средовое окружение, не имевших возможности использовать свой традиционный хозяйственный опыт и испытывавших различные стадии аккультурации и деэтнизации, сказывались и на относительно «благополучных» территориях. Здесь распадению целостности угрожали сами процессы самоорганизации, инициировавшие увеличение регионального своеобразия и рост самосознания населения.

*1999*

# 2. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XVI–XVII ВЕКАХ

## 2.1. МЕЖЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Проблема понимания письменного исторического источника традиционно представляется проблемой интерпретации его содержания. Вербально-письменная форма, в которой это содержание выражено, обычно не имеет альтернатив более адекватного отображения фиксируемой информации и в подавляющем большинстве случаев не требует особых объяснений. Однако рассматриваемые нами межевые документы, источник максимально по своему содержанию конкретный и почти не допускающий двоякого толкования, могут быть поняты и адекватно интерпретированы лишь в случае приемлемого объяснения именно формы отображения содержащейся в них информации.

Межевые документы (межевые, дозорные и писцовые книги, содержащие описи межей вкладных, пожалованных и надельных земель), будучи продуктом административно-фискального делопроизводства являются едва ли не единственным массовым источником XVII – начала XVIII века, аккумулирующим в себе геопространственную информацию. Подавляющая часть межевой информации представлена линейным (вербально-письменным) способом на основе достаточно простого алгоритма: выступающие в роли ориентиров точечные географические объекты (отдельные деревья, пни, искусственные межевые знаки – столбы с гранями и ямы с угольем), определенные участки линейных географических объектов (истоки, устья, броды, мосты), площадные объекты небольшого размера (болотца, озера, борки) соединялись векторами (иногда с указанием направления по странам света и расстояния в верстах). Приведем типичный пример межевого описания, относящийся к обмежеванию земель Далматова монастыря конца XVII столетия:

> «А межа той земле до речки Исети сосноваго яру, что над Исетью, а на том сосновом яру на сосне вновь учинено две грани; с той сосны прямо на увал на березу, а на ней две ж грани, да подле той березы малая березка с одного корени, и с тех берез прямо наполдень в степь на яму, а в той яме уголье, а подле ямы столб, а на нем грань, а с той ямы и столба прямо степью на дуброву на

одинокую березу, а на ней по обе стороны грани, а с той березы по дуброве прямо на осиновый колок…»[1]

и т.д. и т.п.

Известный тезис о невозможности адекватного отображения геопространственной (исходно нелинейной) информации линейным способом собственно и ставит проблему интерпретации межевых документов, их вербального, а не графического отображения.

Как и любой другой исторический факт, представляющийся современному исследователю необъяснимым или нелогичным, вербальный характер межевых описаний может быть объяснен лишь исходя из контекста, для которого данный факт являлся тривиальным. Прежде всего, должен быть поставлен вопрос о самой возможности графического отображения межевой информации. Иными словами, уровень картографического мастерства того времени должен был превышать некий предел, после которого ошибки, привносимые в межевую информацию несовершенством картографической техники, уже не могли быть соизмеримы с искажениями, вносимыми в нее линейным способом ее фиксации.

Даже поверхностное знакомство с картографическим материалом рассматриваемого периода (весьма, кстати, немногочисленным) вполне может утвердить мнение о его неспособности сколько-нибудь адекватно отображать географические реалии. Действительно, примитивизм этих графических работ, выражающийся в значительных искажениях линейных и площадных размеров картографируемых объектов, а также в нарочитой декоративности, не позволяет использовать их в практической деятельности, например, для измерения площадей и расстояний. В лучшем случае их можно считать лишь иллюстрациями, показывающими примерное расположение земельных угодий и населенных пунктов на некоторой территории. Все количественные и большинство качественных характеристик отображаемых объектов сопровождали эти графические произведения в виде пояснительных надписей, которые, собственно, и составляли их основное информативное ядро.

Межевые документы, вполне индифферентные к количественным и качественным показателям земель, описывают исключительно межи, обрамляющие и разделяющие эти земли. Очевидно, что неразвитость картографического искусства не могла здесь иметь столь отрицательных последствий как при описании земель. Требующая

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 24, л. 3.

только достаточно узнаваемого обозначения ориентиров и примерного направления связывающих их векторов, межевая информация вполне успешно могла быть отражена уже имеющимися к тому времени картографическими средствами.

Из чуть более девятисот сохранившихся графических работ, созданных к концу XVII столетия, лишь единицы посвящены межевым работам. Особый интерес представляет чертеж границ земель Пафнутьева монастыря, датируемый примерно 1660-м годом, где межевая линия представлена так, как видел ее автор: в виде чередования межевых ям, столбов и отдельных деревьев с вырубленными на них гранями. Ряд чертежей имели более условное обозначение межей в виде двойной линии, разделенной на равные промежутки, закрашенные через один черной краской[1]. Межевых чертежей этого периода, которые бы имели отношение к Зауралью, насколько нам известно, не сохранилось.

Вместе с тем, существует единичное косвенное указание на то, что межевые книги могли сопровождаться их картографическим аналогом[2]. В этой связи можно было бы предположить, что межевые книги – это своего рода гипертрофированные *легенды*, т.е. вербальные пояснения к зафиксированной картографическим способом межевой информации. Однако практически полное отсутствие межевых карт по сравнению с достаточно большим массивом сохранившихся межевых описаний, их раздельность, а также единичность свидетельств о том, что они могли составлять нечто единое, все же заставляет говорить о межевых документах как самостоятельном типе фиксации геопространственной информации. В пользу этого утверждения говорит также то, что межевая документация не могла быть и продуктом переложения графического изображения в текст – практики, расцениваемой некоторыми исследователями в качестве широко используемой в XVII веке[3]. Для этого информация, содержащаяся в межевых документах, слишком конкретна и наглядна. К тому же упомянутый выше тезис о невозможности адекватного отображения геопространственной информации линейным способом ставит практически не-

---

[1] **Кусов В.С.** Картографическое искусство Русского государства. – М.: Недра, 1989. – С. 23-25.

[2] 10 июля 1722 года Далматову монастырю дана была «выпись Сибирской губернии от надворного суда на монастырские земли и всякия угодья з дозорных книг и з чертежа Тобольского дворянина Стефана Фефилова ис подлинного дела и межевых книг и чертежа ж Тобольского дворянина Ивана Астраханцова» (ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 922, л. 7).

[3] См. напр.: **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 75.

преодолимые барьеры любым попыткам аутентичного перевода ее с одной формы фиксации на другую (с текста в графику и наоборот).

Таким образом, наличие формальной возможности (и даже единичные опыты) графического отображения межевой информации все же не привело к замене ею линейного способа фиксации. Причиной этому не могли служить какие-либо функциональные преимущества вербальных описаний. Обладая значительной избыточностью (как самой информации, так и средств ее отображения), межевые описания слишком громоздки и, как представляется современному исследователю, неудобны в плане восприятия их содержания. Однако по-настоящему серьезным недостатком является то, что чрезвычайная конкретность межевой документации свела ее значение почти исключительно к местному уровню. В отличие от графических работ, практическое использование вербальных межевых описаний предполагало очень хорошее знание размежеванной местности. Чиновнику, не знакомому непосредственно с этой территорией, но вынужденному по долгу службы заниматься различного рода земельными спорами, практически невозможно было составить сколько-нибудь объективную картину дела, имея источником информации лишь межевые документы. Дело усугублялось еще и тем обстоятельством, что межевые описания не могли быть переведены в графическую форму, поскольку в них отсутствует необходимая для этой процедуры информация: о величинах углов поворота межевой линии в точках ее излома[1], а зачастую и о расстояниях между ориентирами. Все это не могло не вести к затягиванию решений по земельным тяжбам, вызванному необходимостью сбора сведений по существу спора на месте от находящихся в тяжбе сторон и старожилов.

Оперируя объектами часто с недостаточно хорошо выделенными индивидуальными признаками, либо имеющими недолговременный характер, т.е. с трудом локализуемыми в пространстве, межевые описания часто сами вызывали земельные споры, причину которых следует искать именно в ошибках, свойственных линейному способу отображения геоинформации. Примерами подобных ошибок могут служить случаи, когда разные географические объекты носили одно и то же название (так, Ершовкой, служившей одним из межевых ориентиров, называли две различные речушки жители смежных Адбашского острога и вотчины Тобольского Знаменского монастыря[2]), либо, наоборот, один объект имел несколько наименований (так, реч-

---

[1] **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 83.

[2] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 11.

ка Пиригримка Тобольской округи была известна в различных межевых описаниях как Солянка и Московка[1]). Каждый из таких случаев вызывал необходимость разбирательства на месте, поскольку сами по себе межевые документы не могли сколько-нибудь ощутимо прояснить дело.

Слишком очевидная зависимость межевых описаний от конкретных географических объектов (не всегда к тому же устойчивых во времени) делала весьма уязвимыми межевые линии даже в случае нарушения хотя бы одного из межевых ориентиров. Достаточно привести вполне типичные для того времени сообщения о повреждении межевых знаков:

> «…стала сосна сухая, а на ней грань… и та сосна подгорела и пала, остался пень и у того пня вновь яма с угольем…», «…была яма с угольем и тоя яму занесло в большую воду землею…», «…в большую воду те межи водою смыло, а глухое озерко заросло, а межевые талины посечены в давных годех…»[2].

Помимо воздействия стихии и времени, межевые линии страдали (правда, относительно редко) и от умышленных действий самого человека в виде *взорания* межей и *истребления* межевых знаков. Вполне очевидно, что при графическом способе выражения межевой информации каждый из межевых ориентиров был бы соотнесен со множеством других пространственных объектов и процедура его идентификации на местности была бы делом более простым.

Закрепление линейного типа отображения межевой информации, несмотря на очевидные его недостатки, могло иметь в качестве одной из своих причин и конъюнктурные обстоятельства, связанные, например, с недостаточным количеством профессиональных землемеров и картографов. Нередкое для рассматриваемого периода явление, оно особенно негативно сказывалось на колонизируемых окраинах, всегда испытывавших острую нехватку квалифицированных исполнителей различных нужд административного характера.

Для Зауралья XVII – начала XVIII века подтверждением дефицита квалифицированных межевщиков является перечень лиц, по «доезду» которых и проводилось размежевание земель. Это, как правило, нижние чины административной иерархии (обычно служилые казаки, слободчики и слободские приказчики), либо лица, находящие-

---

[1] Там же. Д. 86, л. 92.

[2] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], лл. 47об-48; д. 86, л. 83.

ся на особом доверии у воеводской администрации (в основном тобольские и тюменские дворяне). Только в XVIII веке основная нагрузка по межевым делам легла на службу штатных землемеров окружного (уездного) и губернского уровней. Однако количество исполнителей межевых работ было непропорционально малым в сравнении с объемом обязанностей, входящих в их компетенцию. В связи с этим рядовые дела, связанные с межеванием, затягивались на месяцы и даже годы.

Утверждение об острой нехватке квалифицированных межевщиков как одной из возможных причин закрепления вербального характера межевых описаний основывается на том факте, что по мере роста их профессионализма происходит постепенная смена традиций в отображении геопространственной информации. Уже в первой половине XVIII столетия вербальность отображения межевой информации теряет свое былое значение, уступая место картографическому способу. Вместе с тем, необходимо отметить, что общие тенденции в развитии картографического искусства XVIII века в сторону все большей абстрактности и схематичности графического изображения не могли сами по себе привести к резкому изменению способа фиксации межевой информации. По большому счету ее графическое отображение, которому претит излишняя условность, так и осталось на уровне точности допетровской эпохи. Иными словами, вряд ли «победа графики над словом» объясняется только функционально-практическими соображениями, то есть «вдруг» открывшимися преимуществами картографического способа выражения геоинформации перед вербальным. Более того, наивно предполагать, что сущность такого сложного явления как способ отображения геопространственной информации определяется достатком или недостатком обычных «чертежщиков». По-видимому, эволюцию способов фиксации реалий географического пространства следует все же связывать с эволюцией форм пространственного восприятия.

Действительно, представляется весьма заманчивым попытаться увязать способ отображения межевой информации с особенностями пространственного восприятия. Имея в виду идеи французского этнолога А. Леруа-Гурана, выделявшего два типа восприятия пространства: путевое динамическое (характерное для кочевых и охотничье-промысловых культур) и радиальное статическое (присущее оседлой земледельческой и городской культурам), казалось бы естественным предполагать наличие такой связи по крайней мере для Зауралья, являвшегося зоной активной колонизации на протяжении почти всего рассматриваемого периода. Линейность отображения

межевой информации здесь может быть интерпретирована как прямое следствие путевого или линейного восприятия пространства, предполагаемо доминирующего в колонизующем социуме. Избыточность и громоздкость вербальных межевых описаний в этом случае не должны восприниматься как существенный недостаток. Более того, динамика считывания линейно фиксированной геоинформации, вызывающая возникновение в сознании последовательного ряда зрительных образов, очень точно имитирует саму процедуру путевого восприятия и, следовательно, претендует в данном случае на более аутентичное прочтение. С потерей Зауральем статуса колонизируемой территории ко второй половине XVIII столетия меняются форма пространственного восприятия и, соответственно, способ отображения пространственной информации.

Несмотря на всю привлекательность подобной логики, ряд обстоятельств все же заставляет отказаться от столь поспешных выводов. Во-первых, достаточно отчетливая оппозиция типов пространственного восприятия характерна лишь для обществ, находящихся на относительно примитивном уровне своего развития. В развитых обществах оба типа восприятия пространства сосуществуют, но проявляют себя в различных обстоятельствах. Линейное восприятие здесь не является альтернативой концентрическому и, в отличие от последнего, возникает не в населенных пунктах и других местах радиального расхождения привычных путей следования, а в самом пути. Это означает, что способности к фиксации, равно как и способности к «чтению», пространственной информации линейным и графическим способами должны были быть по меньшей мере равнозначными. Во-вторых, факт доминирования вербальных пространственных описаний даже в местах с плотным старожильческим населением в европейской части Русского государства также не позволяет серьезно говорить о сколько-нибудь существенной связи линейности пространственного восприятия и линейности фиксации пространственной информации.

Кажущаяся тупиковость перцептуального истолкования проблемы интерпретации межевых документов не должна смущать. Попробуем подойти к ее разрешению с другой стороны. Попытаемся объяснить не сам факт доминирования вербальных межевых описаний, а сопутствующее ему игнорирование средств картографии.

Современный исследователь волей-неволей проецирует на прошлое систему нынешних стереотипов относительно восприятия пространства и способов его (пространства) репрезентации. Сегодня, например, стоит большого труда убедить себя, что карта не является

естественным и даже самоочевидным атрибутом культуры, но есть исторически молодой способ отображения земной поверхности. Вместе с тем, все вышеизложенное как раз заставляет предполагать о доминировании в Русском государстве вплоть до начала XVIII века такой системы репрезентации пространства, при которой карта не воспринималась как изображение земли «сверху» и, следовательно, не принималась за практически полезную вещь. Вполне убедительная модель такой парадигмы в восприятии пространства была предложена А.В. Подосиновым. Эволюция форм пространственного восприятия была представлена им в виде последовательной смены первичной и вторичной систем ориентации человека в пространстве.

Первичная ориентационная система характеризуется тем, что

> «субъект наблюдения полагает себя в центре наблюдаемого им мира, а все окружающие объекты воспринимает через призму их отношения к этой центральной точке (эгоцентрическое восприятие пространства)»[1].

Носитель этого типа пространственного восприятия

> «еще не вырван из окружающего его географического ландшафта усилием абстрагирующей мысли, не может еще мысленно взглянуть на землю как бы со стороны, с высоты птичьего полета»[2].

Отсюда вполне естественно вытекает «приземленность» вербальных межевых описаний, привязанность их к конкретной местности, к легко вызываемым в памяти или воображении зрительным образам, а следовательно, к самому человеку. Находит свое объяснение и технология межевых описаний, имевшая определенную административно-правовую регламентацию. Вот как об этом свидетельствует один из писцовых наказов:

> «Всякие земляные дела делать перед собою, а для межевания от себя никого не посылать, книги писать перед собою набело, а вчерне книг не держать»[3].

---

[1] **Подосинов А.В.** Ex oriente lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 597.
[2] Там же. С. 463.
[3] Цит. по: **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 82.

Таким образом, межевые описания составлялись, по всей видимости, во время самого процесса межевания, являясь своего рода путевыми заметками, исключающими последующую генерализирующую обработку. Эгоцентрическое восприятие пространства объясняет и длительный период невостребованности картографии практикой. В рамках данной модели репрезентации пространства карта просто не могла быть объектом практического использования, поскольку носитель этого типа пространственного восприятия не видел на ней себя, не мог еще абстрагироваться от своего эгоцентра в процессе отражения пространства. Единичные же случаи отвлеченного картографирования еще не могли преодолеть этого наследия архаики. В связи с этим стоит заметить, что причиной появления русских картографических источников вплоть до начала XVIII столетия следует считать не практические, а скорее иллюстративно-дидактические соображения.

Неквалифицированность межевщиков XVII – начала XVIII вв. и их последующий переход на профессиональную основу явились, с одной стороны, показателем, а с другой, фактором утверждения новой (картографической) парадигмы пространственного восприятия, или, пользуясь терминологией А.В. Подосинова, вторичной системы ориентации. Для ее возникновения нужна была

> «очень высокая степень развития отвлеченного геокартографического сознания, когда наблюдатель исключает из рассмотрения место своего пребывания как исходный пункт рассмотрения, как бы паря над землей и со стороны охватывая всю ее мысленным взором»[1].

*2000-2001*

## 2.2. О СЕМАНТИКЕ СЛОВА «ЧЕРТЕЖ» В ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ: К ПРОБЛЕМЕ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КАРТОГРАФИИ В XVI–XVII ВЕКАХ

В историографии, посвященной вопросам истории отечественной картографии, неизменно подчеркивается высокий уровень развития картографической традиции вплоть до утверждения, что «на все случаи составлялись “чертежи”»[2]. Также считается, что хотя отечественная картография XVI–XVII веков и отличалась самобытным своеобразием, роль и значение ее в системе способов репрезентации гео-

---

[1] **Подосинов А.В.** Указ. соч. С. 605.

[2] **Богучарсков В.Т.** История географии. – Ростов н/Д.: МарТ, 2004. – С. 83.

графического пространства мало чем отличались от последующего времени и современности.

Привлекает внимание абсолютная убежденность (ни на чем в общем-то не основанная) большинства исследователей о самом раннем бытовании русских карт. Весьма показательными в этом отношении представляются суждения видного историка русских географических знаний Д.М. Лебедева:

> «…для XIII–XIV столетий мы можем высказать лишь общие соображения о большой вероятности существования русских “чертежей” и в эти отдаленные времена»[1]; «…хотя история и не сохранила нам чертежей XV–XVI веков…, мы все же имеем для XV в. хотя и косвенные, но весьма убедительные многочисленные доказательства их существования. Для XVI же столетия в ряде документов, дошедших до нашего времени, встречаются уже бесспорные ссылки на множество имевшихся в те времена рукописных чертежей…»[2].

Устойчивое представление о масштабности картографических работ в рассматриваемый период и в то же время отсутствие материальных доказательств этого неизбежно приводят к нарушению логики суждений. Так, А.В. Постников отмечал, что

> «в XVI–XVII вв. в России *составление чертежей* для обеспечения самых различных нужд быстро развивающегося феодального государства *приобрело массовый характер*, но *большинство картографических материалов* этого периода, к сожалению, *не сохранилось* [курсив наш – В.П.]»[3].

По-видимому, первым историком, столкнувшимся с проблемой отсутствия картографического материала, был В.Н. Татищев. Он сетовал по поводу того, что

---

[1] **Лебедев Д.М.** Очерки по истории географии в России XV и XVI веков. М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 199.
[2] Там же. С. 17.
[3] **Постников А.В.** Развитие картографии и вопросы использования старых карт. – М.: 1985. – С. 133.

> «царь Иоан, о котором в 1552 году сказуется, что земли велел измерять и чертеж государства сделать, однако ж чертежа оного нигде не видно…»[1].

Досаду по поводу низкой сохранности картографического материала выражают и большинство современных исследователей русской картографии. Всего от допетровской эпохи до нас дошло чуть более 900 графических произведений, подавляющая часть которых, впрочем, датируется второй половиной XVII столетия[2]. Более того, к картографии многие из них могут быть отнесены лишь с большой натяжкой. Они нарочито декоративны и в практическом отношении не функциональны.

В то же время в допетровской Руси самое широкое распространение имели вербальные (текстовые) географические описания, представлявшие собой либо дорожники (описания дорожных маршрутов с указанием путевых ориентиров и расстояний между ними), либо описания земельных угодий с указанием их взаиморасположения (по местным ориентирам) и качественно-количественных характеристик. Относительное обилие таких описаний не могло не обратить на себя внимание исследователей русской картографии. Поскольку тезис о высоком уровне развития русского картографического искусства под сомнение не ставился, наличие обширного корпуса текстовых документов, содержащих геопространственную информацию, приводило их к выводу о том, что практика переложения графического изображения в текст была едва ли не обычной для XVII столетия[3]. Правда, вопрос о целесообразности подобной процедуры так и не был поставлен.

Наряду с этим, фиксировались и другие малопонятные моменты, связанные, например, с игнорированием карт. Так, В.С. Кусов отмечал, что

> «сохранилось немало текстов, снятых с иностранных карт или извлеченных из приложений к атласам и переведенных на русский язык… но не обнаружено ни одной карты, перечерченной в XVI–XVII вв. из западноевропей-

---

[1] Цит. по: **Постников А.В.** Развитие крупномасштабной картографии в России. – М., 1989. – С. 19.

[2] **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 10.

[3] См. напр.: **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 10.

ского источника с переводом на русский язык надписей и топонимов»[1].

Факты явного пренебрежения собственно картографическим материалом в допетровской Руси так и не стали предметом специального исследования. А.В. Постников, один из немногих, кто обратил внимание на данную проблему, даже пришел к выводу о некой цикличности в восприятии практической ценности картографии, когда «периоды преобладания карты сменялись периодами преобладания текста»[2]. Правда, вопрос о причинах подобной цикличности восприятия поставлен им не был.

Несмотря на массу различных нестыковок и неувязок, представление о развитом картографическом искусстве в допетровской Руси остается общепринятым. По всей видимости, сравнительно частое употребление в отечественных источниках XVI–XVII веков термина «чертеж» являлось важнейшим и сильнейшим доводом в пользу тезиса о развитости русской картографии и снимало спорадически возникающие вопросы.

Однако в данном случае, видимо, можно говорить о том, что имеет место один из основных врагов исторической реконструкции – презентизм. Современность оказывает часто не замечаемое и неосознаваемое воздействие на складывающуюся в нашем сознании картину прошлого. И чем незаметнее это воздействие, тем устойчивее наши заблуждения. В данном случае семантический спектр (надо признать, очень узкий) современного термина «чертеж» экстраполируется на область значений этого термина (как мы убедимся, довольно широкую) в прошлом.

Приведем лишь некоторые примеры, иллюстрирующие многозначность определения «чертеж» в рассматриваемый период, отсутствие его непременной связи с какими-либо картографическими произведениями.

Например, под сравнительно часто встречаемыми в межевых документах «чертежами» естественнее предполагать черчение на земле, т.е. само межевание, а не черчение на бумаге, т.е. карту. В этом отношении интересна заверительная подпись местных старожилов при межевании земель в окрестностях Углича в 1692 году:

---

[1] **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 75.

[2] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 16.

> «А на чертеже с нами окольные люди были Углецкого уезду Городцкого стану…»[1].

Под термином «чертеж» могли пониматься и пределы тех или иных территориальных (главным образом административных) образований. Об этом говорит ряд случаев употребления этого термина именно в таком его смысле. Так, в наказной памяти на строительство Красномысской слободы, датируемой 1674 годом, было указано, что

> «для строения острожного и церковного и всяких жильцов дворового леса возить из за Исети реки з бору ис чертежу Шадринской слободы…»[2].

В самом конце XVII столетия в челобитной крестьян Новопышминской слободы указывалось,

> «будто монастырского села Покровского крестьяне в их новопышминской слободы чертеже на зверей и птиц промышляют…»[3],

на что получили ответ монастырских крестьян, которые заявляли, что

> «сверх же меж и чертежу в их пышминские крестьянские земли они не въезжают…»[4].

То, что термин «чертеж» мог изначально восходить к понятию *границы*, ограждающей определенную территорию, можно предположить из челобитной беломестного казака Ивана Лоскутникова и пашенного крестьянина Василия Пушинцова об основании Тамакульской слободы, датируемой 1686 годом:

> «есть де за Пышмой в Верхотурской черте в степи… пустое порожее место и всякие угодья…»[5].

В этом смысле термин «чертеж» оказывается замечательным образом близким по целому ряду семантических спектров латинскому понятию *regio* и производному от него понятию *регион*[1].

---

[1] Цит. по: **Кусов В.С.** Указ. соч. С. 27.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3223, л. 1.
[3] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 15.
[4] Там же. Л. 15 об.
[5] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 21 об.

Таким образом, термин «чертеж» в рассматриваемый период был полисемантичен, причем, основой его семантического спектра являлось представление о границе, содержащей и ограждающей освоенное пространство. По-видимому, под «чертежом» могли пониматься не только тем или иным способом ограниченные сегменты геопространства, но и средства их отображающие, как графические, так и текстовые. В этой связи считаем необходимым обратиться к истории изучения важнейшего памятника допетровской традиции отображения геопространственной информации – так называемой «Книги Большому Чертежу».

Это произведение единодушно отождествляется с вербальным комментарием к некоему картографическому произведению – «Большому Чертежу». Однако, как и в случае с другими «чертежами», наблюдается все та же странность, а именно, отсутствие самого чертежа. Так, А.В. Постников отмечал, что

> «”Книга Большому Чертежу” многократно копировалась в XVII–XVIII вв. и до нас дошло около 40 ее списков, в то время как ни одной копии ни Большого Чертежа, ни нового Большого Чертежа [редакции 1627 года – В.П.] не сохранилось до настоящего времени»[2].

Учитывая бытовавшую многозначность термина «чертеж», можно предположить, что «Книга Большому Чертежу» (по-видимому, не случайно это произведение в ряде списков именуется как «Книга Большого Чертежа» и даже «Книга, глаголемая Большой Чертеж»[3]) есть не более чем вербальное описание административно-территориального образования высшего уровня – самого Русского государства (которое в данном случае и выступает в качестве «Большого Чертежа»). А так называемый «список» с «Большого Чертежа», созданный в 1627 году и интерпретируемый сегодня как вербальное переложение ветхого и попорченного картографического памятника[4], есть не более чем копия с такого же вербального по форме произведения (семантика самого слова «список» заставляет понимать его именно в этом смысле).

---

[1] **Зубков К.И.** Концепт региона в геополитическом измерении // УИВ. – 1996. – №3. – С. 23.
[2] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 133.
[3] **Лебедев Д.М.** Указ. соч. С. 221.
[4] **Богучарсков В.Т.** Указ. соч. С. 82.

В этой связи показательно замечание Д.М. Лебедева о том, что все

> «попытки восстановить графически по тексту “Книги” хотя бы ориентировочно карту самого “Большого Чертежа” оканчивались неудачей»[1].

Отсюда становятся понятными попытки отдельных исследователей поставить под вопрос сам факт существования гипотетического «Большого Чертежа». Так, Б.П. Полевой считал, что «Большой Чертеж» – не одно произведение, а сборник карт, состоявший из маршрутных «чертежей с урочищ» и общего чертежа, имевшего, возможно, небольшие размеры и генерализированное содержание[2].

Даже если признать, что на основании собранных в «Книге» сведений была создана обзорная карта, она не могла быть ни чем иным, кроме как иллюстрацией. Во всяком случае, в практической деятельности использовать ее было невозможно. Крупнейший отечественный географ и специалист в теоретической картографии А.К. Салищев заявлял о принципиальной невозможности использования вербальных кадастровых документов (переписных, дозорных, межевых книг) XVI–XVII столетий для «непосредственного составления географических карт»[3]. Иными словами, создать функциональную в практическом отношении карту на основе имеющихся географических сведений вербального характера было в принципе невозможно. Однако А.В. Постников утверждал:

> «Если картографические материалы, создававшиеся при описаниях и измерениях землевладений, были крайне редки и фрагментарны и, естественно, не могли быть использованы при создании общероссийских карт, то сами текстовые описания, покрывая почти сплошь европейскую часть страны, представляли собой главный материал для обзорного картографирования»[4].

Кажущееся противоречие снимается довольно легко: если цели создания русских картографических источников были иные (скажем,

---

[1] **Лебедев Д.М., Есаков В.А.** Русские географические открытия и исследования с древних времен до 1917 года. – М.: Мысль, 1971. – С. 93.

[2] **Постников А.В.** Развитие крупномасштабной картографии… С. 20-21.

[3] Цит. по: **Лебедев Д.М.** Указ. соч. С. 210.

[4] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 129.

иллюстративные или дидактические), то они действительно могли создаваться подобным образом. Правда, в этом случае количество таких произведений в силу неприменимости в практической деятельности вряд ли могло быть сколько-нибудь ощутимым. Практическая нефункциональность определяла и их примитивность.

По всей видимости, графическая форма представления географической информации в рассматриваемый период вообще не была востребована. А.В. Постников сделал довольно ценное замечание, не повлекшее, правда, за собой должных логических выводов:

> «Возможно, что относительно меньшее дошедшее до нас количество чертежей по сравнению с другими историческими источниками объясняется в известной степени тем, что для людей, которым предназначались чертежи, в то время картографическая форма представления информации о местности была не так привычна и понятна, как текстовая»[1].

Можно ли увязать феномен особого отношения к картографии с чисто национальными особенностями пространственного восприятия или объяснить несовершенством картографической техники?

По мнению Е.А. Мельниковой, в средние века

> «мысль теологов и географов работает особенно интенсивно и напряженно, но направлена она не на практическое познание реальных объектов мира, а на умозрительное построение непротиворечивой картины мира в рамках христианского мироосмысления и вероучения»[2].

Картографическим выражением такого представления о земном срезе мироздания стали так называемые «mappae mundi» – «карты мира». Определенные черты такого типа картографии еще заметны в русских картографических памятниках XVII столетия (южная или восточная ориентация карт, вписанность изображаемой территории в прямоугольник и некоторые другие).

Средневековая русская и западноевропейская картография мало чем отличались друг от друга. По авторитетному мнению А.В. Постникова

---

[1] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 133.

[2] **Мельникова Е.А.** Образ мира. Географические представления в Западной и Северной Европе. V-XIV века. – М.: Янус-К, 1998. – С. 107.

> «землемерные работы и составление карт земельных владений в этот период в Европе (XV–XVII вв.) проводились на таком же невысоком техническом уровне: господствовали чисто линейные измерения, а земельные планы… были крайне примитивными»[1].

Сколько-нибудь выраженное практическое направление (когда карта из сугубо иллюстративного средства превращается в информационно-практическое) европейская картография начала приобретать лишь в конце XV–XVI веках, и лишь к концу этого периода относятся труды Меркатора и Ортелия, заложившие основы картографии современного типа.

Довольно резкое изменение парадигмы пространственного восприятия и переосмысление назначения географических карт в начале нового времени очень хорошо прослеживается на примере развития отечественной картографии.

А.В. Постников отмечал, что

> «картографирование в этот период [в XVIII столетии – В.П.] начиналось всегда с текстовых описаний местности, включавших и записи измерений, которые затем в камеральных условиях “переводились” в картографическое изображение. Эта методика была унаследована из предшествующей эпохи развития отечественной картографии, где карты… всегда были графическим изложением текста»[2].

Неизмеримо более высокое качество картографических работ XVIII столетия следует, таким образом, связывать не с совершенствованием картографической техники (мы видим, что она осталась в целом прежней)[3], а с изменением их функционального предназначения. Становясь все более востребованной чисто практическими интересами, отечественная картография уже с рубежа XVIII столетия очень быстро утрачивает свои декоративно-иллюстративные черты и становится похожей на картографию современного типа.

---

[1] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 129.

[2] **Постников А.В.** Развитие картографии… С. 145.

[3] Практика непосредственного вычерчивания (без промежуточного текстового описания) на «геометрическом столике» – мензуле – появляется лишь в конце XVIII столетия.

Итак, есть все основания предполагать, что под термином «чертеж» в рассматриваемый период (до конца XVII столетия) далеко не всегда понимались картографические произведения. В большинстве случаев раннего употребления этого термина на Руси, он обозначал либо некие территориальные образования (возможно, лишь административные), либо средства отображения этих образований (первоначально, как правило, в виде текста). Действительно, стоит только отказаться от прямого отождествления «чертежа» и карты, как многочисленные «мелкие» нестыковки, отмечавшиеся исследователями, найдут свое объяснение. Это и удивительно стабильная «несохраняемость» карт (с досадой констатируемая многими исследователями), это восхищение масштабом картографических работ, о котором якобы свидетельствует сохранившаяся опись «чертежам» царского архива 1575-1584 гг., где «чертежи» относительно небольших территорий занимали целые ящики[1], наконец, это многочисленные свидетельства о «ветхом» и «роспавшемся» состоянии многих «чертежей»[2]. Все это, по нашему мнению, говорит скорее в пользу текста, нежели карты. Собственно картографические произведения (довольно редкие в то время) вплоть до конца XVII столетия не были сколько-нибудь ощутимо востребованы практикой и носили скорее иллюстративно-дидактический характер (отсюда и их примитивность).

В течение XVII столетия, в связи с постепенным переходом к новой (картографической) парадигме пространственного восприятия, термин «чертеж» все чаще начинает употребляться применительно к графическим формам отображения геопространственных реалий, а с XVIII века утрачивает все другие смыслы.

*2004*

## 2.3. СПОСОБЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛОНИЕЙ

Сегодня распространен стереотип, что только картографические средства позволяют получать пространственную информацию в максимально адекватной и емкой форме. И наоборот, отсутствие графически отображенной геоинформации означает не только отсутствие необходимых сведений о конкретной территории, но и не по-

---

[1] **Лебедев Д.М.** Указ. соч. С. 210-212.

[2] «Ветхое» и «роспавшееся» состояние многих чертежей предполагает их активное использование в практической деятельности. Однако картографические источники того времени нефункциональны, следовательно, едва ли в данном случае речь идет о картах.

зволяет осуществлять в ее пределах сколько-нибудь продуманных управленческих решений. Исходя из этого стереотипа, следует проанализировать насколько информированными были управляющие органы в метрополии о колонии и в какой степени эта информированность проистекала из картографических источников.

Некоторые пространственные сведения о зауральской территории содержатся уже в «Книге Большому Чертежу» редакции 1627 года, хотя, по справедливому замечанию Д.М. Лебедева, отражают уровень географических знаний не первой четверти XVII-го, а последних 30 лет XVI-го века[1]. Д.Я. Резун на основании анализа упоминаемой в этом произведении поселенческой номенклатуры вообще посчитал характер этих сведений восходящим ко временам походов в Югру[2]. Поэтому по-настоящему первой известной попыткой власти упорядочить пространственную информацию из сибирской колонии, видимо, следует считать указ 7176 (1667) года царя Алексея Михайловича, в исполнение которого был

> «збиран… чертеж в Тоболску за свидетельством всяких чинов людей, которые в сибирских во всех городах и острогах хто где бывал и городки и остроги и урочища и дороги и земли знают подлинно… и то писано в чертеже порознь по статьям в кругах, также за свидетелству иноземцов и приезжих бухарцов и служилых Татар»[3].

Сохранилось несколько копий карты, известной в историографии как «Чертеж Сибири П.И. Годунова 1667 года», составленной, как считается, в исполнение процитированного указа царя Алексея Михайловича. Однако особенности изобразительных средств этих копий, в частности, той, что приведена в работе Д.М. Лебедева и В.А. Есакова[4], заставляют видеть в них произведения или редакции по меньшей мере рубежа XVII–XVIII столетий[5]. Как бы то ни было, если под термином «чертеж» здесь и понимается некое графическое изображение, оно могло быть лишь рисунком, иллюстрирующим вер-

---

[1] **Лебедев Д.М.** Указ. соч. С. 225.

[2] **Резун Д.Я.** Эволюция понятий «город» и «острог» в приказном делопроизводстве XVII века // ВИ. – №10. – 1979. – С. 172.

[3] **Титов А.** Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. – М., 1890. – С. 25.

[4] **Лебедев Д.М., Есаков В.А.** Указ. соч. С. 135.

[5] Во всяком случае, так называемый «Чертеж Сибири 1673 года» (датировка его очень условна), также сохранившийся лишь в копии, весьма декоративен и, по всей видимости, более аутентичен.

бальное описание, и не могло иметь самостоятельного практического значения (что отличает вербальные пространственные описания того времени от *легенды* – вербального пояснения к современной карте, играющего сегодня почти исключительно вспомогательную, второстепенную роль). Основное, информативное ядро «Чертежа Сибири» несомненно составляло вербальное повествование, где локализация и взаиморасположение описываемых объектов (главным образом поселений) обозначены через их привязку к известным (имеющим название) дорогам, рекам, озерам, а также через указание расстояний между ними, о чем, собственно, и «писано в чертеже порознь по статьям». Иными словами, первые географические сведения о Сибири, затребованные властью, имели почти исключительно вербальный характер и, как можно думать, вполне удовлетворяли ее своей информативностью.

Постепенно, однако, административные интересы становятся все более требовательными к новым, картографическим, средствам отображения пространственной информации. Как оправдывает свое повеление боярский приговор 1696 года «О снятии чертежа Сибири»:

> «…и те чертежи велеть в городех сделать для того, что в Сибирском приказе Сибирским городам чертежей нет, и ведать не по чему…»[1].

В данном случае под «чертежами» уже почти наверняка понимаются именно графические произведения. Всплеск чертежно-картографических работ в Сибири на рубеже XVII–XVIII веков отмечался Л.А. Гольденбергом[2].

Однако процесс перехода к новой картографической традиции затянулся на десятилетия. Знаменитая сибирская карта С.У. Ремезова[3], составленная в 1697-1699 годах, и расцениваемая сегодня как итог русских географических знаний о Сибири к концу XVII столетия, не могла быть использована в иных целях, кроме иллюстративной. Источниками ее составления, помимо письменных документов, являлись рассказы «старожилов, памятных бывальцев», «ведомцев», «бывальцев в непроходимых местах и каменех безводных, на степях и на морях» и не только русских, но и «иноземцев-бухар, и татар, и

---

[1] ПСЗ РИ, т. III. С. 217.

[2] **Гольденберг Л.А.** С.У. Ремезов – сибирский картограф и географ. 1642 – после 1720 гг. – М.: Наука, 1965. – С. 56-57.

[3] РГВИА, ф. 416, д. 517, л. 1.

калмыков, и новокрещеных»[1], что уже в определенной степени характеризует ее содержание. Своей южной ориентацией и крайней схематичностью (нарочито декоративное отображение гидрографической сети: реки – толстые извилистые линии, притоки изображены одинаковой длины и расположены один от другого через равные промежутки, берега однообразно извилисты, озера – большие и круглые) карта Ремезова явилась одним из последних проявлений старой картографической традиции, уступившей в XVIII веке место картографии современного типа. В этой связи следует заметить, что исследование географических знаний по картам старой картографической традиции (целью создания которых были не практические, а иллюстративно-дидактические соображения) не может считаться достаточным и даже сколько-нибудь результативным. Адекватность отображения географических реалий не являлась целью создания подобного рода графических произведений, что выразилось в значительных искажениях изображаемых объектов, даже если они были заведомо хорошо известны авторам этих работ.

Сколько-нибудь точно передавались графически лишь «чертежные переводы» (планы) городов, выполнявшиеся при начальном их устройстве[2]. Однако и эти произведения возвращают нас в конечном счете к человеку, поскольку были основаны на непосредственном наблюдении и традиции в изготовлении которых были подготовлены многовековым опытом иконографического изображения поселений (привлечение «иконников» к составлению рисунков-чертежей городов в конце XVII столетия отмечают Л.А. Гольденберг[3], А.В. Постников[4], Г.В. Алферова[5]).

В общем же случае, отсутствие потребности в сплошной «инвентаризации» геопространственных реалий (само пространство конституировалось наличной информацией о них, что не вызывало ощущения «незаполненности» пространства) низводило картографическое произведение на положение если не иллюстрации, то мало на что годного в практическом отношении курьеза.

Вместе с тем, отсутствие вплоть до начала XVIII столетия картографических изображений Сибири, способных служить практиче-

---

[1] **Бахрушин С.В.** Г.Ф. Миллер как историк Сибири // **Миллер Г.Ф.** История Сибири. – Т. I. – С. 19.

[2] **Миллер Г.Ф.** История Сибири. Приложения. – Т. I. – С. 340, 348, 376.

[3] **Гольденберг Л.А.** Указ. соч. С. 162.

[4] **Постников А.В.** Развитие крупномасштабной картографии… С. 26-27.

[5] **Алферова Г.В.** Организация строительства городов в Русском государстве в XVI – XVII вв. // ВИ. – 1977. – №7. – С. 63.

ским целям, не должно являться доказательством отсутствия информированности о ней. Информация конечно же поступала, но в ином виде и, соответственно, по-иному оценивалась. В большинстве случаев о происходящих в колонии делах государь узнавал из челобитных, отписок представителей власти на местах и устных сообщений, доставляемых нарочными гонцами,

> «чтоб государю про всякие дела, что зделается, было ведомо и было б ково роспросить, чтоб хто сказать умел»[1].

В отличие от доминирующего сегодня представления о пространстве как абстрактном, геометризированном и изотропном «вместилище» материальных объектов, тогда пространство воспринималось именно через призму этих выделяемых объектов (вернее, через призму представлений о них). Как пишет А.В. Подосинов, подобное отношение характеризуется

> «непосредственным, чувственно-конкретным восприятием пространства, при котором человек… устанавливает направление (или местоположение) наблюдаемых и описываемых им географических объектов по ориентирам окружающей ландшафтно-климатической природной среды, а также социально-политической, экономической, религиозной, бытовой и прочей практики»[2].

Эти ориентиры не просто заполняли пространство, но сами конституировали его, делали качественно разнородным, анизотропным. Достойным внимания и описания считалось лишь то, что имело значение, что могло быть названо и интерпретировано.

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 342. В этой связи, отчасти понятно некоторое пренебрежение, которым характеризовалось отношение власти к чисто географической информации из пределов колонии. Для управления (а под ним понималось обычно то или иное административное решение по сути ситуации или спора) вполне **хватало** информации, поступающей с запросом на решение проблемы. По большому же счету от «центра» требовалась лишь воля и правовое закрепление **уже сформулированного** на местах решения. Поэтому, несмотря на то, что у правительства не было единого, определенного плана действий в Сибири, не был налажен механизм сбора информации об осваиваемой территории, а реагирование его на те или иные местные обстоятельства было чисто ситуативным, нельзя не признать, что управление это было в целом успешным.

[2] **Подосинов А.В.** Указ. соч. С. 603-604.

Вербальность пространственных описаний ставила как составителя, так и читателя подобным образом фиксированной информации в жесткую зависимость от слова, термина, обозначающего тот или иной географический объект. А свойственные такому способу отображения пространственной информации ошибки сказывались еще на протяжении почти двух столетий, уже при господстве современной, картографической парадигмы пространственного восприятия. Так, в 1792-1794 гг. возник спор тюменских городовых крестьян с крестьянами деревень Антипиной и Копыловой о Стрелецком луге. К делу была представлена данная от 15 июля 7175 (1667) года на владение жителями деревни Антипиной островом, на котором косили стрельцы. Чиновники Тобольской верхней расправы, занимавшиеся данным спором, оказались в затруднении, поскольку не имели возможности подтвердить факт идентичности спорного Стрелецкого луга со стрелецкими покосами из представленного документа, так как возможно

> «кроме оного есть другой остров на котором прежде кашивали стрельцы»[1].

Описание тех или иных объектов географического пространства считалось достаточным, если приводилось имя собственное (для выделявшихся или уникальных объектов), если указывались ориентиры (при указании лишь класса объекта), либо если указывалось расстояние до известных объектов. В ответе на указ царя Алексея Михайловича тобольскому воеводе П.И. Годунову о проведывании дорог от Тобольска к Астрахани и в Китайское государство следовало:

> «…из Тобольска степми дорога, озера и реки большие есть, а описать оных никоими мерами не возможно, потому что знатцы, которые бывали те люди, тем рекам и озерам прозвать не знают»[2].

Иными словами, указывание топонимов и гидронимов признавалось более информативным, нежели описание реальных географических объектов.

В свете вышеизложенного становится понятным и распространение в Сибири практики вожества. Исключительно важное значение

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 341, оп. 1, д. 205, л. 1-13.

[2] **Титов А.** Указ. соч. С. 30.

вожей (проводников) в рамках традиционного взгляда на русскую картографию допетровского времени не может быть сколько-нибудь внятно объяснено. При наличии развитых средств передачи геопространственной информации (т.е. функциональных в практическом отношении географических карт) «ведание» земель стало бы общедоступным и не зависящим от непосредственного опыта знакомства с той или иной территорией. В условиях же отсутствия или неразвитости таких средств вожи становились неотъемлемым и незаменимым атрибутом проникновения на незаселенные русскими территории по тем или иным административным надобностям.

*2002, 2004*

## 2.4. ВОСПРИЯТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И МЕЖУЕЗДНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Селективность отражения пространства делала линейные и площадные измерения земной поверхности, чему сегодня уделяется исключительно большое значение, маловажным с точки зрения информированности о некоторой территории. Более того, очаговое восприятие пространства мешало серьезному отношению к территориальному разделению как таковому. Как следствие, отсутствие четкой регламентации в территориальном разграничении воеводских властных полномочий вкупе с неравным статусом самих воевод и их личными амбициями являлись весьма ощутимой издержкой административно-правового освоения.

Образование уездных границ было делом достаточно хаотичным и конъюнктурным. Часто единственным поводом для передачи тех или иных территорий к тому или иному уезду было удобство или неудобство местного населения в сдаче ясака. Поскольку именно население конституировало пространство для административной структуры, лежащие «впусте» земли просто выпадали из поля зрения власти, что служило дополнительным фактором отсутствия четкого межуездного разграничения. Кроме того, для каждого из воевод «заполненным» выступало лишь пространство, занимаемое приписанным к данному уезду населением. Все другие земли (при отсутствии четких границ между уездами) воспринимались как «порозжие», что не могло не вылиться в перманентные межуездные тяжбы.

В ноябре 1619 года били челом государю ясачные татары Туринского уезда на жителя Верхотурья Артемия Бабинова, который

отнял у них ясачную вотчину «на реке на Нице на усть Реши речки» и поставил там деревню[1]. Как стало известно, Бабинов получил эту землю как государево пожалование, назвав ее в своей челобитной верхотурской и пустой. Однако оказалось

> «то де место стало в споре меж Верхотурья и Япанчина [Туринска – В.П.], а тово де неведомо, которого уезду то место: Верхотурского или Епанчинсково»[2].

Эти же причины обусловили достаточно серьезные конфликты зауральских воевод по поводу устройства новых слобод. В 1667 году из Верхотурья начали строить слободу на речке Камышенке и уже вывезли бревна на острог. В следующем году строитель слободы приказчик С. Будаков жаловался своему воеводе, что на то же место приехали строить слободу по наказу из Тобольска. А еще через год партия тобольских служилых людей выбила Будакова из слободы. Пытавшийся вступиться за него верхотурский воевода И. Колтовской даже был вынужден сесть у себя на Верхотурье в осаду от присланных тобольским воеводой П.И. Годуновым людей во главе с сотником Клепиковым[3].

Возникший несколько позже и не имевший достаточных рычагов воздействия на соседние административно-территориальные образования, Туринский уезд подвергся настоящей колонизационной экспансии со стороны Тобольского и Верхотурского уездов. Из Верхотурья здесь были построены слободы Рудная и Ницынская-Ощепкова. Слободы Киргинская, Чубарова, Верхне-Ницынская, Нижне-Ницынская (Красная) были основаны по инициативе тобольских воевод, приписаны к Тобольску и считались слободами «тобольскаго присуду туринскаго уезду»[4]. Это вызвало постоянные обращения туринского воеводы и поддерживаемых им туринских ясачных инородцев в Москву. Туринский воевода Г. Волынцов отписывал государю в 1632 году:

> «И около, государь, Туринского острогу ясашных волостей построились твои государевы слободы: Красная сло-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 294.
[2] Там же. С. 298.
[3] **Шунков В.И.** Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII вв. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 67-68.
[4] **Буцинский П.Н.** Заселение Сибири и быт ее первых насельников. – Харьков, 1889. – С. 70-71.

бода и Чюбарово городище, и в те слободы по твоему государеву указу указывают из Тобольска, и на Невье и на Режу и в Новой слободе указывают с Верхотурья… и мне, государь, холопу твоему в тех слободах русским людем о звериных ловлях и огнях заказать не уметь, что они не под туринским присудом, и заказу моево, холопа твоего, не слушают и в Туринской к суду не едут… И те, государь, слободы построились все в Туринском уезде, да и вново, государь, ныне с Верхотурья ж строят в Туринском же уезде в ясашных волостех новую слободу к Ырбе реке. И туринским ясачным людем стало утесненье великое. И ис тех слобод приходя, русские люди в их отчинах зверь побивают тайным обычаем и хмели дерут, и рыбу ловят, и во всем их изобижают... А в Верхотурской, и в Пелымской, и в Тюменской уезд туринских ясашных татар для звериного промыслу лесовать не пущают»[1].

В этом же русле написана и челобитная туринских ясачных татар около 1635 года, причем не без явного содействия туринских властей[2]. Череда подобных обращений 1635, 1639, 1640 и 1641 гг.[3] прошла без видимых последствий. Вместе с тем, когда в 1644 году сам Туринск попытался завести слободу на формально туринской земле, но в пределах заведенной из Верхотурья Ницынской Ощепковой слободы, туринский воевода получил суровую отповедь государя:

«И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, будучи на нашей службе в Сибири в Туринском остроге, служил нам и прибыли искал вновь, и слободы и крестьян строил отъискивая пашни в Туринском уезде, где пригоже, а в Верхотурском уезде слобод не строил, и в земли и ни в какие угодья не вступался, чтоб в том меж сибирскими городами ссоры не было; во всех сибирских городех порожних земель и всяких угодей много, мочно и не на спорных местех слободы и пашенных крестьян строить, только бы было радение»[4].

*2002*

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 460-461.
[2] Там же. С. 501-502.
[3] Там же. С. 501, 530, 549-553, 557, 560.
[4] Там же. С. 576.

# 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАУРАЛЬЯ В XVI – СЕРЕДИНЕ XVIII В.

## 3.1. РУССКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАУРАЛЬЯ В ДОКОЛОНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Если географическое пространство воспринималось через призму селективно выделяемых географических объектов, то пространство административных интересов во многом определялось населением – основным объектом (и орудием) административного управления. Иногда оно становилось едва ли не единственным фактором, конституирующим *пространство-для-административной структуры*. Население же выступало и основным объектом административно-правового освоения. Успешность этого освоения во многом зависела от возможности и/или целесообразности включения неосвоенного человеческого субстрата в структуру социума. И уже от уровня этой включенности или невключенности зависело отношение к той или иной территории. На факт восприятия пространства через призму занимающего это пространство населения как практику московской администрации указывал и Д.Я. Резун:

> «Для Московского правительства была важна не земля, а количество платящего ему ясак населения. Можно вспомнить, как легко Москва отдала Даурию, с таким трудом завоеванную Хабаровым и Черниговским; как долго мы не хотели продвигаться в степи Казахстана и Хакасии, после того как оттуда ушли калмыки и киргизы»[1].

Северное Зауралье, вернее население его занимающее, издавна являлось объектом проявления русских экономических интересов, представлявшихся сначала новгородцами, а затем и московским государством. Сутью этих интересов было получение пушнины путем наложения дани на местное население. Новгородцы, рассматривавшие уже с XIII века Югорскую землю, под которой тогда понималась вся известная территория Зауралья, своей волостью,

[1] **Резун Д.Я.** Фронтир в истории Сибири и Северной Америки // http://www.zaimka.ru/

«указывали этим на освященное временем право или, вернее, на возможность предпринимать туда походы для сбора дани»[1].

С падением Новгородской республики и переходом Югры под юрисдикцию Московского государства процесс освоения принял более упорядоченный и предсказуемый характер. Однако постоянное русское население здесь так и не появилось, сбор ресурса, как правило, осуществлялся по заранее обговоренным условиям присылаемыми с Руси данщиками при поддержке местной знати и «лучших» людей:

«А провожать наших данщиков Югорским князем и югричем людем добрым от городка до городка и от людей до людей и беретчи наших данщиков во всем по ряду, как преж сего»[2].

Тем не менее, военные походы продолжали осуществляться, но уже в качестве более или менее спорадического явления. Этот аспект первоначального административно-правового освоения Зауралья, выражавшийся преимущественно в военных походах (С.В. Бахрушин называл их набегами[3]), в том числе и походы казаков Ермака, был очень метко назван П.М. Головачевым «кочевой колонизацией Сибири»[4].

В целом, за несколько столетий, предшествовавших русской колонизации Сибири, наблюдалась определенная эволюция территориальных приоритетов, замечательным образом отразившаяся в смене обозначений, употреблявшихся по отношению к зоне русских интересов за Уралом.

«Югорская земля, – как верно подметил П.М. Головачев, – с течением времени, из общего географического термина, под которым новгородцы представляли себе всю известную тогда часть северо-западной Азии, превраща-

---

[1] **Головачев П.М.** Очерк заселения Сибири в XVI и XVII столетиях. – СПб., 1906. – С. 2.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 324-325.
[3] **Бахрушин С.В.** Научные труды. – М., 1955. – Т. III. – С. 75.
[4] **Головачев П.М.** Указ. соч. С. 7.

ется в определенный и сравнительно небольшой географический район»[1].

От себя добавим, что обратную эволюцию претерпело понятие *Сибирь*, которое из обозначения относительно небольшого района по среднему Иртышу превратилось в название целого субконтинента. Югра для московского государства была уже к середине XVI столетия привычной подданной территорией, обращение с населением которой не требовало излишней дипломатической учтивости. Достаточно вспомнить грамоту 1557 года царя Ивана Васильевича в Югорскую землю, предупреждавшую:

> «А не зберете вы нашее дани со всякого человека по соболю и к нам на Москву не пришлете, и мне на вас послать рать своя и вострая сабля»[2].

Приоритетным же для Москвы стало подчинение, или хотя бы присмирение, местного центра влияния – Сибирского царства, оказывавшего на подчиненных Москве инородцев не совсем выгодное ей воздействие. Достижение этой задачи автоматически (при отсутствии другого серьезного противника) означало окончательное включение в сферу влияния московского государства как уже освоенного, так и еще неосвоенного населения, проживающего за Уралом. По-видимому, следствием этого и стало применение обозначения *Сибирь* ко всей известной зауральской территории.

Хотя территория северного Зауралья (а с 1553 года и Сибирское царство) уже считалась частью московского государства и даже в царский титул были внесены соответствующие изменения, вопрос о ее колонизации русским населением даже не поднимался. Думать иначе – значит подпадать под искажающее воздействие ретроспективного подхода, видеть в совокупности исторических процессов и событий некую предопределенность, которую прошлое реально не содержало[3]. Цели административно-правового освоения достигались уже простым установлением даннических отношений между Зауральем и Русским государством. Поступление ясака и формальные отношения подданства делали ненужными ни организацию здесь посто-

---

[1] Там же. С. 1-2.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 324.

[3] **Пестерев В.В.** К вопросу о вероятностном характере исторического бытия и ретроспективном подходе в историческом познании // Историческая наука на пороге третьего тысячелетия. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 34-35.

янных элементов русского административного управления, ни сбора какой-либо дополнительной информации об этой территории. Причем, на наш взгляд, вопрос о русской колонизации еще долгое время мог оставаться открытым, если бы были сохранены даннические отношения между местным населением и русским государством. Именно слом этих отношений со стороны сибирского хана Кучума, а также его вылазки на подвластные московскому государству пермские земли, позволили инициировать русский колонизационный процесс в Сибирь. Первым признаком этого послужили челобитные пермских промышленников Строгановых. Слом данническихотношений между Сибирским царством и Москвой практически ставил земли первого на положение «ничейных». Отсюда становится понятным удовлетворение царем прошения Строгановых о пожаловании им земель и угодий по Тоболу и его притокам. Царская жалованная грамота Якову и Григорию Строгановым от 30 мая 1574 года предусматривала

> «на Тахчеях и на Тоболе реке крепости им поделати, и снаряд вогняной, и пушкарей, и пищальников и сторожей от сибирских и от нагайских людей держати, и около крепостей у железного промысла, и у рыбных ловель и у пашен по обе стороны Тоболы реки и по рекам и по озером и до вершин дворы ставити, и лес сечи, и пашня пахати и угодьи владети»[1].

Данная грамота также давала добро

> «на Иртыше и на Обе и на иных реках, где пригодитца для береженья и охочим на опочив, крепости делати и сторожей с вогняным нарядом держати, и из крепости рыба и зверь ловити…»[2].

Вряд ли такое пожалование было бы возможным при сохранении прежних даннических отношений. Более того, текст грамоты дает вполне отчетливое представление об истинных целях русского присутствия в Зауралье – защитить экономические и политические интересы Русского государства, защищая

> «данных остяков, и вогулич, и югрич и жены их и дети от сибирцов от ратных приходу»,

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 333.
[2] Там же. С. 334.

а также

> «збирая охочих людей и остяков, и вогулич, и югрич и самоедь, с своими наемными казаки и с нарядом своим посылати воевати, и в полон сибирцов имати и в дань за нас приводити»[1].

Однако было бы неверным оценивать позиции московского государства по отношению к Сибирскому царству как шапкозакидательские или, во всяком случае, активно-наступательные. К началу 80-х годов XVI века внешнеполитические неудачи Русского государства и внутренняя нестабильность сильно отразились на способности государя к адекватной оценке собственных возможностей. Четко прослеживается стремление его к стабилизации существующего положения, но также и боязнь действий, которые бы могли его ухудшить. Прежний наступательный порыв по отношению к сибирскому хану сменился стремлением простого недопущения военных действий на территории русского Приуралья со стороны подстрекаемого им пелымского князя.

Грамота царя Ивана Васильевича от 6 ноября 1581 года относительно разорительных походов пелымского князя в приуральские владения Семена и Максима Строгановых удивительно контрастирует с предыдущим отношением к военной опасности из Зауралья отсутствием даже намеков на возможность не то что превентивных, но даже просто ответных действий с русской стороны.

> «А ты б, – писал государь Никите Строганову, – таково ж велел своим людем с пермскими людьми и с Семеновыми и Максимовыми вместе стояли против Пелымского князя, и воевать им не давали, чтоб вам всем от войны уберечись»[2].

Любые ответные действия «без указу», чреватые какими-либо осложнениями, приводили государя в ярость. Иначе как истеричной трудно назвать грамоту от 16 ноября 1582 года относительно посылки казаков в Сибирь и адресованную Максиму и Никите Строгановым. Еще не имея сведений об успешности похода Ермака, начало которого совпало с очередным набегом Пелымского князя на пермские зем-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 334.
[2] Там же. С. 335.

ли, царь Иван Васильевич во всех бедах, обрушившихся на Чердынь и другие пермские места, обвинил Строгановых.

> «И то зделалось, – писал он им, – вашею изменою: вы вогуличь и вотяков и пелынцов от нашего жалованья отвели, и их задирали и войною на них приходили, да тем задором с Сибирским салтаном ссорили нас, а волжских атаманов, к себе призвав, воров, наняли в свои остроги без нашего указу. А те атаманы и казаки, – припомнил государь их прежние провинности, – преж того ссорили нас с Нагайскою ордою, послов нагайских на Волге на перевозех побивали, и ордобазарцов грабили и побивали, и нашим людем многие грабежи и убытки чинили…»[1].

Иван Васильевич потребовал вернуть казаков и направить их на охрану пермских пределов.

> «А не вышлете из острогов своих в Пермь волских казаков атамана Ермака Тимофеева с товарыщи, – предупреждал он, – а учнете их держати у себя и Пермских мест не учнете оберегати, и такою вашею изменою что над Пермскими месты учинитца от вогуличь, и от пелынцов, и от Сибирскаго салтана людей вперед, и нам в том на вас опала своя положить большая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешати»[2].

Таким образом, вряд ли можно серьезно говорить о какой-либо предустановленности в русской колонизации Сибири, по крайней мере, до «взятия» ее Ермаком. Период разрыва даннических отношений между Сибирским царством и Москвой характерен метаниями последней, неуверенной в своих силах и не имеющей достоверной информации о своем противнике. Снаряженная Строгановыми экспедиция под предводительством Ермака

> «имела громкий успех, но именно только громкий, а не прочный. Она была, в сущности, простой рекогносциров-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 335.
[2] Там же. С. 336.

кой, показавшей, что Сибирь можно покорить, но сама по себе не привела к покорению Сибири»[1].

Действительно, историческое значение похода Ермака состояло не в военной, а в информационной плоскости; это предприятие сломало информационные барьеры и резко изменило поведение московского правительства. Хотя тот факт, что следующий поход был организован правительством только через год после получения известия о смерти Ермака, дал повод П.Н. Буцинскому заявить следующее:

> «…правительство Федора Ивановича слишком долго думало над сибирским вопросом, прежде чем принять то, или иное решение. Очевидно, оно было поражено катастрофою, случившеюся с Ермаком и его храбрыми сподвижниками, и не знало на что решиться»[2].

Тем не менее, если ранее завоевание Сибири рассматривалось как откровенная авантюра, могущая повлечь нежелательные для Русского государства последствия и потому отдавалось на страх и риск частных лиц – Строгановых, то теперь, после «громкого» успеха Ермака, правительство поспешило взять инициативу в свои руки. Противник неожиданно оказался слаб, и только с этого момента колониальная судьба Сибири оказалась практически предрешенной.

*2002*

## 3.2. РУССКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ И МЕСТНОЕ (ИНОРОДЧЕСКОЕ И КОЧЕВОЕ) НАСЕЛЕНИЕ

Несмотря на появившуюся у Москвы после похода Ермака уверенность в своих силах, страх перед местным населением был характерен для всего процесса организации русского населения, как на первом этапе колонизации Зауралья, так и на более поздних ее этапах.

В целом, административно-правовое освоение не отвергало инородцев, не старалось исключить их из своей структуры, но, напротив, стремилось максимально полнее интегрировать их в свою систему функционирования (хотя применение по отношению к ним таких

---

[1] **Любавский М.К.** Историческая география России в связи с колонизацией. – СПб.: Лань, 2000. – С. 223.

[2] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 81.

обозначений как «инородцы» и «иноземцы», а также другие проявления некой дистанцированности, все же указывали на определенные границы такой интеграции). Эта интеграция не ломала традиционных властных структур местного населения, но также включала их, хотя и в несколько усеченном виде, во властную структуру государства-колонизатора. Местная знать именовалась княжескими титулами, представители ее имели некоторые преимущества и в получении различного рода административных должностей. В случае наделения инородцев функциями, которые они выполнять были не в состоянии, правительство шло навстречу их пожеланиям. Так, известно, что жители многих инородческих юрт через чьи земли пролегали дороги, связывавшие сибирские города, обязаны были исполнять функции ямских охотников. В результате этого многие из таких «ямщиков» в своих челобитных постоянно жаловались на эту тягость и были неисправны в этом деле, так как оно было им «не за обычай». Такие прошения удовлетворялись и на «ямскую гоньбу» переводились и записывались ямщики и гулящие люди из метрополии. Несмотря на кажущийся неуспех включения инородцев в структуру колонизирующего государства в данном конкретном случае, успех административно-правового освоения здесь налицо: сам факт подобных прошений красноречиво показывает включенность хотя бы части инородцев в контекст бюрократического механизма государства-колонизатора.

На микроуровне проявления административно-правового освоения, связанного с межеванием, принесенные русской колонизацией механизмы административно-хозяйственного территориального разграничения оказались замечательным образом близкими существовавшим до того механизмам, которые русское административно-правовое освоение также не отвергло, но, напротив, включило в свою практику. В 1646 году при проведении размежевания Туринского и Верхотурского уездов туринский сын боярский Семен Шарыгин отметил у устья реки Реши «туринских ясачных татар с верхотурскими вогуличи старинные затеси на двух соснах по их вере». Он же застал на речке Бобровке туринского ясачного татарина и верхотурского ясачного вогула, ловивших бобров: «А на той речке меж ими грань… их татарские признаки»[1]. И в том и в другом случае местные межевые признаки после соответствующего подтверждения их древности показаниями окрестных людей были включены в межевую систему, устанавливаемую русской властью.

[1] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 62.

Перенятыми русской властью оказались и существовавшие здесь до того отношения подданства, зафиксированные в таком их атрибуте как *ясак*. Сбор его играл несколько очень важных для государства-колонизатора функций. Во-первых, он устанавливал де-факто отношения подданства, что делало возможным «правовое» (как оправдание силового) давление на инородцев в случае нарушения этих отношений. Во-вторых, привычность ясака делала издержки колониальных властей по налаживанию новой структуры присвоения материально-энергетических ресурсов минимальными, а промысловое освоение руками инородцев – максимально рентабельным.

Таким образом, четко прослеживается стремление государства к минимизации издержек в процессе освоения местного населения, к созданию условий его бесконфликтного включения в структуру функционирования социума.

Вместе с тем, государство различало инородцев, так или иначе интегрированных в его структуру, т.е., если так можно выразиться, «освоенных», и инородцев, пока не поддающихся такой интеграции, т.е. освоению. На первых этапах колонизации «неосвоенными» были практически все сибирские инородцы. Так, например, при строительстве первых сибирских городов запрещалось инородцам быть в строящемся городе и вообще запрещались тесные контакты их с русскими («а стояли бы под городом, а в город их не пущать, покаместа город укрепится, чтоб и[м] людей государевых не смечать»), и все это не смотря на то, что эти инородцы активно участвовали в острожном и городском строительстве (им надлежало «лес ронить и привозить под город»)[1].

Также это выражалось в запрете на продажу им так называемых «заповедных» товаров. В царской грамоте 1596 года тюменскому воеводе о торговле в городе бухарцев и ногайцев содержался наказ:

> «А того б есте над ними смотрели и берегли накрепко, чтоб они заповедным товаром: доспехи, и пансыри, и саблями, и ножи, и топоры – с юртовскими и с ясашными татары не торговали»[2].

В ряде челобитных 1598 года местные инородцы просили дозволения

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 341, 348.
[2] Там же. Т. II. С. 176.

> «по прежнему торговати с русскими людьми топоры и ножи и котлы», потому как «нам, государь, без топоров, и без ножей, и без пешен прожить невозможно, нагим и босым и голодным быти, и твоего государева ясаку добывати нечем», а «мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нет, ни дровишек, государь, усетчи нечем, и на зверя, государь, засеки сделать без топора не можно и нечим; а обуви, государь, зделати без ножа не можно ж»[1].

Только грамотой от 17 мая 1598 года пелымскому голове Дементию Юшкову было позволено топоры и ножи

> «не от многа им у торговых людей про свою нужу купити»[2].

Но и впоследствии подобная торговля вызывала неодобрение властей. Так, в 1613 году в Москву доносили из Верхотурья, что пермичи возят

> «на Сылву и на Ирень заповедные товары: доспехи, и сабли, и топоры, и ножи, и торгуют с татары и с остяки; а те де татаровя и остяки тем заповедным товаром торгуют с нагайскими людьми»[3].

Эти ограничения на свободную торговлю с инородцами наблюдались на протяжении всего рассматриваемого периода и были отменены лишь в 1822 году «Уставом об управлении инородцев».

Таким образом, государство само ставило барьеры процессу освоения. Нельзя освоить что-либо, не сделав объект освоения в чем-то похожим на субъект. Но тем самым дальнейший процесс освоения может стать для субъекта не только затруднительным, но и опасным. В этой связи понятна реакция административной структуры по ограничению степени похожести объекта освоения на субъект. Государство стремилось обезопасить себя от возможных проблем с инородцами.

Такого же рода барьеры воздвигались и в отношениях с пока еще «неосвоенными» инородцами и кочевниками. Запрет на торгов-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 179-180.
[2] Там же. С. 181.
[3] Там же. С. 267.

лю «заповедными» товарами с калмыками в государевой грамоте на Тюмень 1623 года:

> «А будет учнут приежать к вам к Тюмени з базаром, и вы б с ними торговать велели и лошади покупать, а им бы есте самопалов, и сабель, и рогатин, и копей, и топоров, и ножей, и сайдаков, и стрел, и иново никаково ружья и железа продавать не велели»[1].

В начале XVIII столетия:

> «А торгу б с оными киргиз кайсаками никакого не имели, ружья, пороху и свинцу и протчая тому подобнаго под смертной казнью не возили… а кто из них для торгу с русскими ехать пожелает, оные б с товарами ехали к крепости Челябинской, небольшими людьми неболее 25 человек»[2].

Подобные меры мы видим и по отношению к «изменившим» башкирам в конце первой четверти XVIII столетия. В ряде донесений настоятелю Далматова монастыря указывалось о тайной продаже монастырскими крестьянами пороха башкирам[3]. Во время очередного обострения конфликта с ними в 1736-1737 годах было повелено

> «съезды башкирцами с ружьями накрепко запретить, чтоб никто в башкир низачем без указу от них неездили и озер и хмелевья у них не откупали… чтоб башкирцом без указов харчу и железа никто не продавали…»[4].

То же самое предписывалось исполнять и мещерякам:

> «…чтоб они без указ в башкир не ездили, башкирцам ничего не продавали, своих дочерей башкирцам в супружество не давали и у них не брали под опасением жестокого наказания…»[5].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 357.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 248, л. 12 об.
[3] Там же. Д. 91, л. 1–50.
[4] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 182, л. 26 об.-27.
[5] Там же. Л. 27 об.

В последнем случае особое выделение мещеряков следует расценивать не как свидетельство отличия их от прочих государевых подданных, но как вынужденную со стороны государства меру по укреплению наиболее слабого звена в своей структуре, каковым объективно делали мещеряков их близкие этнические и исторические связи с башкирами.

Эта закрытость и недоверие вырастали в целую стратегию по искажению реального образа русской колонии в глазах инородцев и иноземцев. Так, в царской грамоте тюменскому воеводе Григорию Долгорукому от 31 августа 1596 года указывалось:

> «…как бухарские или нагайские торговые люди с торги на Тюмень приедут… и в тое б пору у вас в городе и в остроге было людно, и служивые люди: литва, и казаки, и стрельцы стояли с ружьем, и приставов к тем послам приставливали из служилых людей… А того б есте над бухарцы и над нагайцы велели смотреть и берегли накрепко, чтоб бухарцы и нагайцы в городе никаких крепостей и людей не рассматривали и не лазучили, и с русскими людьми и с татары, опричь торговли, никоторых разговорных речей не говорили, и нужи б они сибирские никоторые не ведали; а рассказывали б бухарцам и нагайцам, что сибирские города добре людны и ничем не нужны…»[1].

В государевой грамоте на Тюмень от 30 октября 1623 года читаем:

> «…будет в Тюмень ис которых колмацких улусов или Алтыновы послы учнут приходити, и вы б им велели быти у себя за городом, где пригоже, в шатре или где на дворе за городом, а не в городе. А те поры было б у вас людно и стройно и бережно во всем, а не оплошно ни в чем»[2].

Такие же ограничения касались и иноземных торговцев:

> «А как приедут з базаром, и в те поры б у вас в городе однолично во всем было бережно, и крепостей им рос-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 176-177.
[2] Там же. С. 357.

матривать отнюдь не давали и долго их в Тюмени не держали»[1].

При отправке обратно посланника царевича Девлеткирея в 1637 году тарский воевода велел его

> «с торговыми бухарцы вести пустыми и крепкими месты и того беречи накрепко, чтобы те Девлеткиреев посланник и бухарцы ничево не росматривали и не розведывали. И провожаючи… велел в них выведывать всякими мерами ласкою: прямо ль Дивлеткирей, Кучумов внук, присылал того посланника своего Баянка с прямою правдою, что хочет он быть под твоею государевою царского величества высокою рукою, или он присылал чево высматривать и розведывать и не татар ли присылал подзывати»[2].

В 1640 году тобольские посланники говорили Куле тайше, что ныне по

> «государеву указу присылают в сибирские городы из русских городов руских людей, человек по 500 и больше, на всякой год для тово, что в руских городех людей умножилось и не для войны; а которые будет орды будут немирны, учнут с… государевыми людьми чинить задоры, с ним терпеть не учнут»[3].

Самое страшное оружие противника это наличие у него достоверной информации о вас. Если перекрытие доступа к этой информации не является возможным или целесообразным, особое значение приобретают усилия по включению в ваш информационный образ у противника заведомо недостоверной или преувеличенной информации.

В период Смуты необходимо стало скрывать не только и не столько то, что происходило в колонии, сколько то, в каком состоянии оказалась метрополия. В этом случае наличие плотных информационных фильтров позволяло избежать резкой нивелировки «разности потенциалов» между крайне структурно неустойчивой и ослабленной

---

[1] Там же.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 520.
[3] Там же. С. 532.

метрополией и более или менее устойчивой, но еще слабой структурно колонией. Любая информация о происходящем в метрополии, ставшая достоянием инородцев, расценивалась как признак «воровской шатости и измены». Весной 1609 года писал на Верхотурье с соляного промысла Ворошилко Власьев:

> «…приходили де к нему Ворошилку из Неглу с верх Сосвы реки Верхотурского города уезду ясачной вагулятин Цыба Албаутов да Пелымского города уезду сосвинской же вагулятин сотников Кумысов сын Андрюшка, и распрашивали де у него Ворошилка те вагуличи про русские вести, и про запасы, и про однорядки, и сколько де у тебя наемных людей и много ли пищалей… а про русские де вести ты Ворошилко нам не сказываешь, и мы де про русские вести и сами ведаем, что на Москве русские люди меж собою секутся… Да Кумычев же де сын Семеика, приходя с Сосвы на Туру реку, по юртам у ясачных татар и у вагулич про русские вести проведывает… неведомо для чего»[1].

Летом 1612 года в Пелым поступила информация,

> «что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пелымской уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с товарищи для воровского совета и умышления; а говорят де они пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году ясаку не хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерских вагулы на Русь в войну везти…»[2].

Подобная интерпретация событий в метрополии привела к тому,

> «что хотят де вагуличи в сибирских городех воевать, чем де нам итти на Русь воевать в войну… государя де ныне на Москве нет, ныне де одни в Сибири воеводы, а людей де мало русских во всех сибирских городех»[3].

Сокрытие информации проявлялось и в стремлении утаить от возможных врагов или конкурентов коммуникационные линии, как в

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 246.
[2] Там же. С. 261.
[3] Там же.

колонии, так и в метрополии. А поскольку универсальных способов передачи пространственной информации (имеются в виду картографические средства) не существовало, или они были неразвиты, резко возрастает значение отдельных людей, знавших пути проникновения на те или иные территории. Соответственно, важным было недопустить разглашение этими людьми важной информации. Так, в государевой грамоте от 20 марта 1616 года мангазейскому воеводе содержится наставление:

> «А о том бы есте заказ учинили крепкой промышленным людям и ясашным татаром, чтоб они немецких людей на Енисею и в Мангазею отнюдь никак не пропускали, и с ними не торговали, и дорог им ни на которые места не указывали. А будет кто с немецкими людьми учнет торговать или дорогу учнет указывать, и тем людям от нас быть в великой опале и в казни»[1].

В 1623 году в государевой грамоте на Тюмень:

> «А к Москве б есте колмацких и Алтыновых послов не отпускали, а отказывали б есте им об отпуску к Москве для тово, что колмаки люди многие и воинские, и они б к Москве пути не узнали, чтоб не учали также приходить на наши украины излывом, что нагайские люди»[2].

Впрочем, эти меры становились бессмысленными перед практикой захвата «языков». Летом 1629 года в Туринском уезде прокатилась тревожная весть о том, что калмыки разбили татар на Утеше озере

> «и, языков побрав, идут в Тюменской да в Епанчинской уезды под государевы слободы»[3].

18-го ноября 1631 года прибежал из плена на Ишимскую заставу татарин и

> «сказал, что поимали колмыки и тарские татары изменники на Камышлове реке Ишимсково острожку на звери-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 273.
[2] Там же. С. 357.
[3] Там же. С. 416.

ных промыслах ясашных людей 4-х человек, и те де ишимские ясашные люди навели колмаков и тарских татар на верхвагайских на капкайских на ясашных людей на промыслу на дву человек; и учали де колмаки и тарские татара говорить тем Капкайской волости ясашным людем, которых поимали на промыслу дву человек: поведите их на свои юрты в Капкайскую волость; и те де мужики… им сказали… што де мы и сами не можем поимать в свой юрт, а блудимся, и колмаки и тарские татара тех капкайских ясашных людей двух человек тут же на смерть побили; а навели на ту Капкайскую волость Ишимсково острожку ясашные люди, которых колмаки и тарские татары взяли на промыслу на Камышлове»[1].

В результате этого рейда были разорены Капкайская, Тебендинская и Коурдацкая волости. Еще больше неприятностей могли принести вожи-изменники, не только знавшие пути, но и имевшие информацию о характере организации обороны в колонии. Осенью 1634 года говорили тобольским служилым людям на Ямыше озере русские и ногайские пленники,

«что государев изменик тарской татарин Кочашко Танатаров прошает у Куйши таиши воинских людей куяшников, а хочет де проитти по сибирские городы и на ясашные волости, а дорогу де он ведает, проидет де промеж озер и болот, а ныне де в городах людей мало, розъехались все по службам»[2].

Весной 1635 года тюменский татарин-изменник Тимошка искал своего зятя Бекенейка, чтобы использовать его в качестве проводника на государевы слободы и ясачные волости. Узнав это, чубаровские татары били челом о Бекенейке, чтобы взять его на Чубарово, говоря:

«как де тово Бекенейка не возмете на Чюбарово, а возмут его колмацкие люди, и на нас и на государевы слободы он будет вож»[3].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 444.
[2] Там же. С. 479-480.
[3] Там же. С. 493.

Поначалу государство пыталось договариваться со своими противниками (конечно, когда не имело возможности воздействовать на них силой или угрозами применения оной). Однако такие инициативы обычно встречали обратную реакцию – страх и недоверие. Так, посланное в 1623 году из Тобольска посольство сына боярского Дмитрия Черкасова к калмыцким тайшам чуть не закончилось печально для послов. Наехав на верховьях реки Абуги тайшей Бобугу, Кузеняка и Каназара,

> «он Дмитрей с товарыщи учал по наказной памяти говорити тайшам: послали де ево ис Тобольска боярин и воеводы Матвей Михайлович Годунов с товарыщи вам тайшам говорити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии великое величество и жалованное слово, чтоб вам тайшам быти под государевой царской высокою рукою, а на государеве бы вам земли тайшам не кочевати, и на государевы волости с войною не приходити, и на зверовье зверовщиков не побивати и не грабити, и вам бы тайшам на том государю шерть дати и утвержение по своей вере; и Бобуга, да Кузенек, да Каназар тайши ему дали разговорити: мы тайши кочюем по своей земле, а не по государеве, а под государевою де рукою мы не хотим быти, хотим де мы з государевыми людьми воеватца. И Бобуга, да Кузенек, да Каназар его Дмитрея с товарыщи, пограбя, хотели убити: вы де едите к нам обманом, хотите де нас воевать»[1].

Вместе с тем, уже к этому времени в калмыцкой среде начинают проявляться первые результаты русского административного освоения. Забравший этих горе-послов в свой улус тайша Зенгул

> «те речи их выслушав, и говорил им Зенгул тайша: скажи де ты, Дмитрей с товарыщи, боярину и воеводе: кочевал де я меж Тарсково города и Тобольских уездов, и тюменских де зверовщиков всегда видал, и я де им дурна никоторого не учинил; да коли б де я похотел воевать государевы волости, и я бы де не боясь под город под который подшел, хлеб бы вытоптал, и сена выжег, и деревни б все вывоевал, только бы один город остался, и я де не хочю з государевыми воеватца людьми, под его царскою

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 351.

высокою рукою быти, хочю де, как наши большие тайши с вашими бояры и с воеводами ссылаютца…»[1].

Впрочем оказалось, что тайшей слишком много и договорные отношения с некоторыми из них отнюдь не снижали уровень калмыцкой угрозы. А усилия государства по освоению кочевого населения не покрывались возможными выгодами; освоение это явно было нецелесообразным. Это заставило Москву пересмотреть свое отношение к дипломатическим связям с кочевниками. Отныне сношения с калмыками отдавались на усмотрение местных властей, и то только если «будет с ними без сылки быть нельзя», а в Москву их велено не отпускать, поскольку

«прибыли в них нет никоторый, и ссылке быть с ними не о чем, люди не ученые, безграмотные, к ним грамот посылать не для чего, прочитать не знают и сами писать не умеют»[2].

Вместе с тем, у присланных тайшами послов поминки повелено было принимать, посылая взамен

«наше жалованье, сукна или однорядки, что пригож, смотря по их поминкам, чтоб их присылки стоило, для того чтоб их от нашего царского жалованья не отогнать»[3].

Однако и это решение власти вызывало не вполне ожидаемую реакцию: отказ от приема послов иногда воспринимался кочевниками как достаточный повод к войне[4].

В ответ на челобитную 1628 года тюменских ясачных татар о невозможности впредь платить ясак из-за близкой подкочевки калмыков, которые у них ясачные угодья отнимают, а самих ясачных татар на промыслах грабят и убивают, власть повела себя как всегда (когда не была уверена в своих силах) деликатно и дипломатично. В ответной государевой грамоте было указано:

«…как колмацкие будут люди прикочюют блиско ясачных волостей, и вы б х колмацким людем посылали говорить,

---

[1] Там же. С. 351.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 357.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 604.

кого буде пригоже, чтоб они колмацкие люди блиско тюменских ясачных волостей на реках и на угодьях ясачных людей не побивали и тюменским ясачным татаром насильства и налоги никакие не чинили, и откочевали бы от тюменских волостей в дальние места»[1].

С подобного рода речами отправлялись посланники к калмыкам с Тюмени и с Тары в 1631-1632 гг.[2] Нечто похожее встречаем и впоследствии (1742 год):

«…ежели когда они будут иметь съезд с киргис кайсаками, то б объявляли чтоб они кайсаки за Тобол реку с кошами своими и лихими людми ни для чего отнюдь не переходили, и близь Тобола со степной стороны на рыбныя и прочих промыслах русских отнюдь обид не чинили под опасением ея императорскаго величества гнева…»[3].

Подобные попытки «магического» воздействия на неуправляемого и непредсказуемого в своих инициативах противника несомненно свидетельствовали о слабости и растерянности административной структуры колонии.

Наличие достоверной информации о противнике есть наиболее серьезное и действенное оружие. Колониальная структура в лице ее администрации стремилась, пусть и на достаточно примитивном уровне, наладить механизм по сбору сведений о своем основном враге – кочевниках. Во-первых, данные сведения получались путем «подключения» к информационному пространству кочевников, и поступали по преимуществу в виде слухов. В качестве передатчиков этой информации использовались посланники к кочевникам, а также сибирские инородцы, имевшие куда более частые и тесные связи с кочевым миром. Иногда административно закреплялось наличие таких людей в местах, где можно добыть интересующую информацию. Так, в указе 1742 года об отправке крестьян Успенского Далматова монастыря на рыбные и хмелевые промыслы в степное Уйское поселье содержится требование, чтобы

«при оных бы промышленниках был толмач знающей татарского языка, особливо же знающей русской грамоте, и

---

[1] Там же. С. 395.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 443, 453-454, 464.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 248, л. 12 об.

писать, чтоб чрез их можно было выдать тамошние киргиз кайсацкие происходимые поступки, и намерения и из других орд к ним приход, и… чтоб они ежели что о их поступках и намерениях уведается… то б немедленно сюда с нарочными знать давали»[1].

Во-вторых, широкое распространение в XVII столетии получили так называемые «проезжие станицы» – небольшие отряды служилых людей с разведывательными функциями. Численность их и радиус деятельности отдавались обычно на усмотрение местных властей. Станицы, посылаемые из городов, достигали иногда численности в несколько десятков человек и доходили до мест крайнего юга Зауралья – по рекам Уй, Тогузак, Абуга.

Существовали и мелкие стационарные наблюдательные пункты – «сторожи» и «караулы», куда временно посылались служилые люди. Впрочем, вряд ли эта практика была сколько-нибудь действенной. В середине XVII века в Туринском уезде на отъезжие караулы и на заставы посылались всего 2 человека. Из Тюмени

«на отъезжие сторожи на Пышму реку, на 3 месте, безпрестанно попеременно Руских служилых людей и Татар, по 12 человек, на место по 4 человека, стоят во все лета. В проезжие станицы летом и зимою покаместо снеги болшие укинут, посылают служилых Руских людей и Татар на 3 урочища до усть Иботи [видимо, Исети – В.П.] реки и до Белого Городища и до Елбаева жилища по 3 человека в станицу… и тем людем службы в городе, для обереганья от воинских людей и в приход в поле по задору воинских людей, недель по 5 и по 6, и в проезжеи станицы дней 10 и на отъезжие сторожи понеделно, посылаютца поочереденно»[2].

Разведывательной деятельностью занимались и кочевники. Сведения о небольших кочевых группах, собирающих информацию о возможном характере сопротивления русских в случае набега, достаточно часто встречаются в административной переписке[3]. В качестве примера можно привести следующее сообщение: в 1643 году царе-

---

[1] Там же. Л. 12-12 об.
[2] ДАИ, т. XI. С. 268.
[3] См. напр.: **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 525, 544.

вич Девлеткирей просил в калмыцких улусах людей на войну под сибирские города – Тюмень и Тару:

> «…а сказывал де царевичь в улусе, что он был под Тюменью летом и подсматривал, а говорил де в улусе, что под Тюменью живут люди оплошно, по прежнему воевати де их мочно»[1].

*2002*

## 3.3. МИР ОСЕДЛОСТИ И КОЧЕВАЯ УГРОЗА (ЗАУРАЛЬЕ В КОНЦЕ XVI – СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА)

Зона соприкосновения двух миров – мира оседлости и кочевого мира – традиционно и вполне справедливо рассматривается в качестве арены перманентно разворачивающегося конфликта/диалога двух сущностно различающихся культур. Кочевая жизнь – быстрая, мощная, напористая, но крайне нестабильная и подверженная внешним влияниям, сталкивалась здесь с жизнью оседлой – малоподвижной, инертной, устойчивой. По всей видимости, именно стабильность оседлости должна была восприниматься быстротечной кочевой жизнью в качестве основной угрозы своему существованию. Единичные набеги приводили к быстрому восстановлению и даже упрочению оседлости, а длительное утверждение кочевников на захваченных территориях приводило к достаточно быстрому растворению их в массе покоренного оседлого населения. Вязкость и инертность оседлой жизни при контактировании неминуемо индуцировались в кочевой мир, для которого потеря подвижности означала утрату основных козырей в предстоящих столкновениях с соперником.[2]

Напротив, едва ли не самой серьезной опасностью для оседлости должна была выступать именно нестабильность кочевого мира, невозможность сколько-нибудь точного прогнозирования/контролирования его инициатив. Если кочевники еще могли получать сколько-нибудь долговременную информацию о своем противнике/собеседнике, то сведения о кочевниках для оседлого населения имели лишь вероятностный характер, определяемый степенью

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 571.

[2] Причем именно набеги, как ни парадоксально, являлись едва ли не основным фактором структурного ослабления кочевников, приводя их к наиболее близким контактам с оседлостью. Впрочем к такому же результату приводила и стратегия самоизоляции в условиях пространственно расширяющейся оседлости. Кочевая цивилизация в конкурентной борьбе с цивилизацией оседлой, по-видимому, уже изначально была обречена на поражение.

свежести полученной информации и мерой доверия информатору. В соответствии с этим и степень проявления ксенофобических реакций (неуправляемость и непредсказуемость поведения противника неизбежно порождают страх) должна была быть ярче выражена именно среди оседлого населения.

Зауральская часть русской колонии в Сибири явилась типичным примером зоны взаимодействия оседлости, с одной стороны, и кочевой и полукочевой жизни, с другой. В соответствии с этим и военизированность начальной колониальной поселенческой структуры воспринималась исследователями как обычная реакция оседлости на кочевую угрозу. Однако проблема заключается в том, что наблюдавшаяся здесь в это время гипертрофированность защитных реакций (чрезмерность военно-оборонительной атрибутики у поселений и наличие элементов военной истерии у населения колонии) не может быть объяснена сколько-нибудь реальными основаниями. В отечественном сибиреведении уже давно установилось мнение о преимущественно мирном характере колонизации Зауралья. Имея это в виду, Л.М. Каптерев с известной долей иронии писал:

> «В слободах… возводятся деревянные укрепления – “остроги” – и под охраной их пушек и пищалей русский мужик начинает “мирное” завоевание имевшего до того лишь скудное туземное население края»[1].

В современной историографии сложилось двойственное отношение к этой проблеме. Неадекватность реакции колониальной поселенческой структуры на военную опасность либо не замечается вовсе, либо преувеличивается сам уровень этой опасности.

Степная часть Зауралья в XVII веке была местом обитания различных кочевых групп и народов: ногаи, калмыки и в большинстве случаев союзные им кучумовичи – дети и внуки бывшего сибирского владетеля. Наиболее грозным противником зауральской части сибирской колонии вплоть до конца XVII столетия были, несомненно, калмыки. Однако, как пишет В.Д. Пузанов,

> «калмыки в большинстве случаев старались избегать прямых военных столкновений с русской властью, нападения на русские поселения и военные русско-

[1] **Каптерев Л.М.** Русская колонизация Северного Зауралья в XVII–XVIII веках (историко-экономический очерк). – Свердловск, 1924. – С. 7.

калмыцкие столкновения в Сибири (в 1607, 1634-1636 гг.) были скорее исключением, чем правилом»[1].

За обиды же, чинимые ясачным татарам, калмыки не чувствовали вины перед русскими и, по мнению Г.Ф. Миллера,

«не считали, что городовые воеводы имеют основание их за то наказывать»[2].

Набеги кучумовичей имели в большей степени грабительский характер и не представляли слишком уж большой угрозы. В целом, до середины XVII столетия кочевниками было совершено всего чуть более двух десятков набегов, причем, бóльшая их часть приходилась не на русские колониальные поселения, а на инородческие ясачные волости. К тому же колониальная поселенческая структура в массе своей была уже подготовлена в военном отношении к периодам обострения ситуации, а не возникала в результате этого обострения (исключением является постройка острогов у ряда слобод в конце 20-х – 30-х гг. XVII в.). Не было также в пределах русского заселения до 60-х гг. и сколько-нибудь значительных и опасных выступлений местных инородцев (по крайней мере осуществившихся). Как признавался Г.Ф. Миллер, родоначальник концепции «завоевания Сибири»,

«военные беспокойства иногда препятствовали этим благим начинаниям [заселению Сибири – В.П.], но препятствия эти никогда не имели серьезного значения»[3].

Итак, не следует преувеличивать **реальную** угрозу русской колонии в Зауралье. Более того, документальные данные показывают, что поселенческая структура Зауралья, несмотря на ее отчетливо военную окраску, **фактически обходилась** без различного рода укреплений, поскольку многие из них не были функциональны (хотя подобные факты вызывали самую серьезную озабоченность у колониальной администрации и служили поводом к бесконечным челобитным на государево имя о помощи в восстановлении обороноспособности колонии). Примером этого могут стать многочисленные свидетельства конца XVI–XVII веков о постепенно разрушающихся укреп-

---

[1] **Пузанов В.Д.** Военно-административная система России в Южном Зауралье (конец XVI – начало XVIII вв.) / Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Курган, 1999. – С. 12.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 115.
[3] Там же. С. 101.

лениях городов, острогов и слобод, большинство из которых так и не испытали осады неприятеля. Так, город Пелым, заложенный в 1593 году, еще не успел достроиться, как в 1597 году пелымский воевода доносил, что башни в остроге уже все развалились, а ров от Пелымки речки засыпался. В 1617 году его преемник отписывал, что крепостное строение почти совсем сгнило и отчасти обвалилось, так что если бы не пожар 1621 года, полностью уничтоживший город[1], Пелым все равно пришлось бы отстраивать заново. Однако даже через два года после пожара город и острог так и не были поставлены,

> «а который острожишко по прежнему городовому месту поставлен, и тот острожишко худ и згнил и обвалялся, и ворот нет»[2].

В 1603 году туринский голова И.Ф. Лихарев писал государю,

> «что острог поразвалился, и нижние концы у острогу с приступной стороны от житниц подгнили»,

указывая в качестве причины, что «лес был тонок»[3].

По отписке вновь назначенного березовского воеводы И.Г. Волынского к 1600 году

> «город в дву местех поищетался и башни и город во многих местех был непокрыт… и острог сгнил и розвалялся весь»,

так что пришлось строить новый острог и исправлять городовое строение[4]. Однако уже в 1607 году березовский воевода Петр Черкасский писал в Москву, «что Березов город ветх»[5]. Такую же картину мы видим в отписке тобольских воевод кн. М.М. Темкина-Ростовского и А.В. Волынского относительно Березова и в 1636 году. По досмотру воеводы Афанасия Толочанова

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 163.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 353.
[3] Там же. Т. I. С. 401.
[4] Там же. С. 379.
[5] Там же. Т. II. С. 230.

«городовые четыре стены все згнили и завалились и башни огнили ж… и острог де меж городовых башен и к воеводцкому двору подгнил же»[1].

В 1648 году писали в Москву,

«что на Березове около посаду острогу и никаких крепостей нет, и после пожару ничего не построено, а на прежнем городовом месте поставлен острог, и тот гнил и худ, во многих местах вывалился»[2].

При принятии должности верхотурского воеводы князем Д. Пожарским в 1625 году оказалось по высмотру, что

«острог весь сгнил, во многих местех повалился, а нового острогу ныне зделать не в чем, лесу нет»[3].

Из описания Верхотурья 1641-1642 гг. при принятии воеводской должности Н. Мещерским:

«И Верхотурский острог поставлен тыном, а тарасов и обламов и никаких крепостей нет; и тот острог весь погнил и во многих местех повалился, а которые прясла и стоят, и те с обеих сторон на подпорах»[4].

В отписке тобольских воевод кн. А.Н. Трубецкого и И.В. Волынского-Птицы царю в 1628 году читаем:

«И в Тоболску, государь, город рублен и башни ставлены и крыты издавна, кровли на городе и на башнях нет и мосты згнили и розвалились. Да и городовые, государь, стены местами подгнили… А острог, государь, во многих местах подгнил и повалялся»[5].

---

[1] Первое столетие сибирских городов. XVII век // История Сибири. Первоисточники. – Новосибирск, 1996. Вып. VII. – С. 72-73.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 611.
[3] Там же. С. 377.
[4] Там же. С. 564.
[5] Первое столетие… С. 51.

По данным Г.Ф. Миллера этот острог был ставлен еще Д. Чулковым в 1587 году и простоял он до пожара 1643 года[1].

В 1661 году уже в Тюмени мы видим картину полной разрухи крепостного строения: город и башни подмыло, кровля погнила или сломало ветрами, одна башня осела и развалилась, ров осыпался и завален навозом, острог также погнил, «а крепостей никаких нет»[2].

В большинстве случаев недолговечность острожного и крепостного строения сибирских городов проистекала из прямых указаний «лес на город ронити лехкой, и чтобы вскоре город зделать»[3], содержавшихся в воеводских наказах. Те же самые проблемы были характерны и для острогов и слобод с той лишь разницей, что их население, по преимуществу крестьянское, обычно было в состоянии исправлять пришедшие в ветхость острожные строения, не прибегая при этом к необходимости длительной административной переписки.

Помимо плачевного состояния острожного строения крупных населенных пунктов Зауралья, последние отличались и недостаточным количеством служилого населения, а также хронической нехваткой вооружения и боеприпасов. В 1600 году в Москве стало известно, что

> «на Верхотурье наших служилых людей стрельцов только 46 человек, и тех стрельцов… послано в новой острог в Япанчин 10 человек, а иные стрельцы живут в посылках для наших дел безпрестанно, и в городе оставается стрельцов только 10 человек… а пашенных людей на Верхотурье только 18 человек, да торговых 10 человек»[4].

К осени 1604 года на Верхотурье осталось

> «служивых людей 2 сына боярских да атаман… и он слеп и увечен, и… государевы никоторые службы служить не может, да стрельцов 46 человек, и тех… стрельцов оставается от посылок в городе и в остроге человек по 10 и по 15 и иногда оставается человеков с 5 или 6»[5].

В 1605 году туринский голова сообщал в Тобольск,

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. – Т. II. – С. 77.
[2] ДАИ, т. IV. С. 96.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 340, 347.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 191.
[5] Там же. С. 216.

«что в Туринском остроге служилых людей нет, одне пашенные крестьяне да ямщики. А как ныне пойдут с Верхотурья государевы сибирские запасы, и ямщики, господине, все 50 человек тот государев запас провожают до Тюмени. А пашенные, господине, крестьяне все живут одно на пашне, а в остроге никакого человека не останется»[1].

В 1623 году пелымский воевода И. Вельяминов писал в Москву:

«А служилых, государь, людей на Пелыме мало, Пелымсково города и острога держати некем, только, государь, на Пелыме служилых людей, ружников и оброчников 90 человек, и те, государь, живут в россылке… А вогулич, государь, в Пелымском уезде… 590 человек»[2].

В 1630 году на тревожные вести о событиях в Нарымском и Томском уездах чубаровский приказчик доносил, что

«на Чюбарове ныне служилых людей нет не одново человека, для вестей послать про воинских людей никуды неково, проведать некем»[3].

Осенью 1635 года туринский воевода писал в Москву, что в Туринске

«конных служилых людей нет, а пеших стрельцов только 50 человек, и те много в россылке по твоим государевым службам, и мне холопу и в посылки послать по вестям неково и острогу осадити некем»[4].

Катастрофически не хватало вооружения и боеприпасов. К весне 1596 года в Москве стало известно, что на Тюмени

«на городе и на остроге наряду мало: одна пищаль медяная сороковая, да 11 пищалей затинных»[5].

---

[1] Там же. С. 222.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 356.
[3] Там же. С. 426.
[4] Там же. С. 499.
[5] Там же. С. 174.

Осенью 1604 года из Верхотурья доносили, что

> «на городе и на остроге большего наряду нет, только на городе 8 пищалей затинных, и те… не добры и стрелять из них нельзя»[1].

В 1623 году пелымский воевода отписывал государю:

> «И наряду, государь, на городе и на остроге нет; и который, государь, прежний наряд был на Пелыме, и тот, государь, наряд погорел, и зелья, государь, и свинцу на Пелыме в твоей государеве казне мало»[2].

Примерно в это же время верхотурский воевода Д. Пожарский доносил, что

> «на Верхотурье на остроге и на башнях наряду никаково нет, а только в нашей казне на Верхотурье 9 пищалей затинных, да 3 пищали малых, да самопалишко, да ствол пищальной малой, да 2 пуда пороху, да 16 пуд и 18-ть гривенок свинцу»[3].

Летом 1629 года приказчик Чубаровой слободы М. Харламов просил туринского воеводу

> «нарядцу, какова мочно, и оружья: затинных и пищалей и пороху и свинцу прислать... А в Чюбаровской слободе у крестьян оружья никакова: пищалей и луков ни у ково нет»[4].

Из отписки верхотурского воеводы М. Стрешнева в Москву в конце 1645 года:

> «А на Верхотурье и Верхотурсково уезду в слободах твоего государева ружья нет, всего 4 пищали затинных да 17 мушкетов, и у тех замки перепорчены, и поделать некому, мастеров на Верхотурье нет, и пороху мало ж, и колокола вестового нет. А Верхотурсково уезду из сло-

---

[1] Там же. С. 217.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 356.
[3] Там же. С. 377.
[4] Там же. С. 415.

бод о пороху и ружье пишут, а послать нечего, пороху мало, а ружья нет»[1].

Итак, с одной стороны, значительная степень нефункциональности военно-оборонительных атрибутов поселенческой структуры Зауралья косвенно подтверждает наши выводы о **мифичности** серьезной военной опасности по меньшей мере до 60-х гг. XVII столетия, но с другой, наблюдавшаяся на ее фоне «психология осадного положения» у населения колонии приобретает явно патологический оттенок.

Вообще, чрезмерные защитные реакции возникают как следствие неспособности системы к адекватному и/или своевременному реагированию на опасные внешние или внутренние флуктуации. Причем, неспособность эта может быть вызвана как свойствами элементов этой системы, так и особенностями протекания информационных потоков между ними. На наш взгляд, именно специфика информационных взаимосвязей в колонии сыграла решающую роль в том, что поселенческая структура здесь имела выраженную военную окраску (функциональность ее принципиального значения не имеет).

Сибирские инородцы, постоянно живущие в пределах русского расселения, имели потенциальную возможность осуществления быстрой и неожиданной атаки на колониальное население. Мало того, что большинство крупных населенных пунктов Сибири были функционально связаны с местным населением и локализация их в известной степени определялась его расположением, многие представители инородческих военизированных образований (главным образом татарских), входя в колониальный военно-служилый контингент, постоянно жили в городах или подгородных юртах.

Что касается кочевников, то для них на территории Зауралья не было сколько-нибудь существенных преград ни географического, ни информационного характера. Места их традиционных кочевий часто лежали уже в пределах сферы влияния Русского государства, нередко расстоянием всего в несколько дней пути от сибирских городов и слобод. Сначала ногаи, кучумовичи, а затем и союзные последним калмыки предпочитали кочевать по среднему течению рек Ишима и Тобола, а также по притокам последнего – речкам Абуге, Ую и Тогузаку, в 6-10 «днищах» от Тюмени. Места традиционных зимовий, как правило, уже находились в 3-7 днях пути или ближе. Однако в отдельные периоды времени места кочевий почти вплотную прибли-

[1] Там же. С. 595.

жались к окраине русского заселения. Так, летом 1601 года появились сведения о намерении ногайцев и казахов к осени прикочевать на Исеть реку в Пускурскую волость тюменского уезда[1]. Весной-летом 1605 года «от Тюмени за полтора днища», на устье реки Суери, кочевал со своими людьми царевич Азим[2]. О близкой подкочевке калмыков сообщали из Туринска в 1614 году[3]. В июле 1628 года стало известно, что «многие колмацкие люди… кочуют от города от Тюмени за три днища и ближе»[4]. В зиму 1628-1629 гг. Чокур тайша собирался «итти зимовать на Тобол выше Тюмени»[5]. В 1632-1634 годах, в период обострения отношений с калмыками, последние фиксировались на реках Пышме, Исети, Суери[6].

Столь близкая угроза извне (со стороны кочевников) и изнутри (со стороны местных инородцев) должна была выглядеть еще более опасной, если учесть, что сообщения о возможных или уже свершившихся нападениях в пределах колонии хронически запаздывали. Так, 6-го июля 1612 года пелымский воевода П. Исленьев по «пыточным речам» вогулетина Тахтанской волости Енбахты узнал,

> «что вишерцы и лозвинцы собрався все больше двухсот человек дорогу прочищать к Пелымскому городу, а ходу де тою дорогою к Пелымскому городу три дня, и пришед де им на Пелымку реку, сходиться с кондинцы и со всею землею, и из пелымских изо всех волостей итти к ним же в скоп, а срок положен у них, как прийти к Пелымскому городу, от того числа три дня… и они де для того приговору меж себя идут все за один всеми землями Пелымской город воевать»[7].

В Тобольске эта информация стала известна не ранее 12 июля, поэтому Пелым (а мы уже упоминали о состоянии его крепостного строения в это время) практически не имел временнóго ресурса для подготовки к защите города. Хроническое запаздывание жизненно важной информации было характерно и для сведений о кочевниках. Приведем несколько примеров. Шестого августа 1608 года писал на

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 198.
[2] Там же. С. 223.
[3] Там же. С. 269.
[4] Там же. С. 395.
[5] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 397.
[6] Там же. С. 462-464, 466-469, 488-490.
[7] Там же. С. 262-263.

Тюмень уфимский сын боярский Иван Каловский, что был он в Каратабынской волости 21-го июня,

> «и того ж де числа пришли в Каратабыньскую волость нагайские торговые люди… а сказали ему в распросе: послал де Урус мурза резвых воинских людей 200 человек под Тюмень… а сам де Урус мурза идет под Тюмень после их, а с ним воинских людей 2000 человек»[1].

Четвертого июля 1629 года

> «прибежали на Тюмень тюменские юртовские и тарханцы, служилые люди и ясашные татаровя с Ишима реки с промыслу з бобров… а видели они сакму воинских людей, перевезлись из за Ишиму на сю сторону… а гораздо де их много по каменю шли, а дорогу в пол колена выбили, а видели ту сакму июня в 23 день»[2].

Семнадцатого июня 1635 года под Верхнюю Ницынскую слободу

> «приходили изгоном воинские колматцкие люди и государевы изменники тарские и тюменские татаровя Кочашко Танаторов с товарищи и слободы пожгли, и скот отгнали, и полон поимали»[3].

В Тобольске об этом стало известно не ранее 27 июня, и лишь третьим июля датируется указание из Тобольска в Нижнюю Ницынскую слободу о мерах предосторожности по этим «вестям».

Третьего августа 1647 года в Нижнюю Ницынскую слободу пришли вести с Пышмы от уфимского ясачного татарина, что

> «идут де войною калмацкие люди под Тюмень и на слободы по смете человек с полторасто, а идут де они легким делом, а как он их видел, тому девятой день»[4].

Четвертого августа того же года

---

[1] Там же. С. 243.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 415.
[3] Там же. С. 494.
[4] Там же. С. 607.

> «прибежал ис поля в Ирбицкую слободу ирбитцкой оброчной крестьянин Микитка Антипин, а в роспросе сказал…: был де он Микитка с товарищи у Исети реки на усть Суварыша речки на рыбной ловле, и июля в 30 день нашли на их станы калматцкие воинские люди… и всех де калмытцких людей по смете будет ста с полпята, а куды они идут: под Тюмень или под слободы, про то им неведомо; а от Ирбитцкие слободы до тое речки до усть Суварыша коньми ехать дни два»[1].

Приведенные примеры в комментариях не нуждаются: «вести» опаздывали как минимум на несколько дней. Совершенно очевидно, что в этих обстоятельствах управляющие органы колониальной структуры просто не имели возможности адекватно, а главное своевременно, отреагировать на чрезвычайные события.

Положение усугублялось неупорядоченностью информационных потоков между элементами поселенческой структуры. С одной стороны, неупорядоченность проявлялась в естественных искажениях поступающей и транслируемой информации, а с другой, в наличии различных информационных фильтров, искусственно воздвигаемых на пути информационных потоков. Например, в ряде случаев тревожные вести о происходящем в колонии вообще не подлежали распространению ни среди инородцев, ни среди русского колониального населения. Так, во время инородческих волнений 1630 года в Нарымском и Томском уездах в памяти из Тобольска приказчику Нижней Ницынской слободы содержалось следующее указание:

> «А которые в Ницынскую слободу вестовые памяти присылают из Тобольска, и ты б те памяти держал у себя крепко, чтоб никакие вести никому были не явны, да и подьячему, которой у тебя в Ницынской слободе, приказати накрепко ж, чтоб он по тому ж ни с кем про то не разговаривал»[2].

Иногда препятствием для протекания жизненно важной информации становились даже отношения субординации. Так, приказчик Нижней Ницынской слободы Б. Толбузин в период осложнения военной ситуации по необходимости ссылался с находящейся рядом и

---

[1] Там же.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 425.

служащей для слободы естественным прикрытием Тюменью, за что получил выговор тобольского воеводы:

> «А что ты Борис о тех вестях писал на Тюмень к воеводе ко князю Ивану Львову, а в Тоболеск о том не писал, и то делаешь не гораздо: в слободе у тебя учинились вести, а ты о том в Тоболеск не писал, а пишешь только на Тюмень, а ведаешь, что послан ты в слободу ис Тобольска, а не с Тюмени»[1].

По всей видимости, определенное негативное влияние на возможность адекватного реагирования колониальной структуры оказывала и противоречивость распоряжений самой власти. Наиболее ярким примером такого рода являются указания относительно походов служилых людей в степь, которые являлись традиционным и весьма действенным средством борьбы Русского государства против кочевой угрозы. Походы практиковались как превентивные действия в виде нападений на коши или места так называемых «зверовий» – традиционных кочевых промыслов, а также в виде преследования совершивших набег кочевников, чтобы «скот и полон отбить». Одной из первых реакций государства на калмыцкую угрозу из степного Зауралья был государев указ от 24 мая 7119 (1611) года, согласно которому

> «на колматских людей, будет они под царскою рукою быти не похотят, и ясаку давати не учнут, и прибыли от них государю никоторые не будет, начнут кочевать на государеве земле и всякими угодьи владети насильством, велено послать из Тобольска, с Тюмени, с Тары на колматских людей войною и охочих всяких людей и татар»[2].

Из Тюмени подобные походы к тому времени предпринимались уже неоднократно (имеются сведения о посылке служилых людей в 1605, 1607, 1608 и 1611 гг.). Однако уже к 1616 году отношение Москвы к калмыцкой угрозе теряет свой прежний наступательный порыв и приобретает двойственный характер. Пятнадцатым числом октября месяца 1616 года датируются две государевых грамоты на Тюмень. Одна из них предусматривала:

---

[1] Там же. С. 526.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 258.

«А будет к которым сибирским городам и на волости калмыцкие люди пойдут войною близко городов, и вы б на тех колмыцких людей посылали тюменских литву и казаков и стрельцов конных и пеших с вогненным боем, сколько человек пригоже, и велели над ними промышлять, сколько милосердый Бог помочи подаст»[1].

Во второй читаем:

«И ты то князь Федор делаешь не гораздо, что боярина нашего и воеводы князя Ивана Семеновича Куракина [тобольского воеводы – В.П.] отписок не слушаете, колмаков от нас отгоняете, посылаете на них тюменских служивых людей войной, а в колмаках наши тобольские служивые люди для посольского дела, и колмаки нам бьют челом, а хотят быти под нашею царскою высокою рукой, а вы на них посылаете воевать воровством… А будет вы вперед учнете воровати и на колмаков без отписки из Тобольска посылать войною тюменских служилых людей и татар, и вам от нас быти в великой опале и в казни»[2].

Последующие грамоты из Москвы на Тюмень 1628 и 1647 годов в некоторой степени проясняют эту явную противоречивость. В них следовали указания

«как прикочюют колмаки блиско их [ясачных людей – В.П.] волостей… и на них посылать тюменских служилых людей»[3], «а для поимки б еси вдаль в степь на калмацких людей бес тобольские отписки собою с Тюмени не посылал, чтоб в том нашему делу порухи не было»[4].

В последнем случае грамота была послана по факту самовольной посылки служилых людей в степь из Тюмени. Отсутствие наказания за это было следствием того, что только оперативные действия тюменского воеводы И. Тургенева «воинским людем повоевать не дали». Двойственный характер указаний из Москвы, с одной стороны,

---

[1] Там же. С. 274.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 275-276.
[3] Там же. С. 394-395.
[4] Там же. С. 609.

предусматривавших возможность посылки служилых людей в степь, а с другой, обесценивавших эту возможность предупреждениями «самим наперед задору с колмаки отнюдь не чинити» и «чтоб с колмацкими людьми в большую ссору не входить», наблюдался на всем протяжении русско-калмыцкого противостояния. Вообще, в административной практике известен принцип: если «сверху» одновременно даются взаимно противоречивые указания, исполнение ни одного из них не является обязательным. Тюменские воеводы, нередко игнорирующие запретительные распоряжения, имели принципиальную возможность поступать по-своему, формально не нарушая при этом государевых распоряжений. Ясачные волости, где дозволялись самостоятельные военные действия тюменских служилых людей без отписки из Тобольска, в первой половине XVII века иногда были настолько удалены от пределов русского заселения, что принципиальной разницы между походами в степь и охраной этих волостей не было (тем более что многие кочевья располагались как раз на территории ясачных волостей, так что проблем с поводами также не возникало). Поэтому, видимо, не следует переоценивать отрицательное значение противоречивых указаний из Москвы, хотя определенную скованность действиям на местах они несомненно придавали.[1]

Для системы, которая не контролирует ситуацию в режиме реального времени, жизненно необходимым становится наличие определенного временнóго ресурса, который бы позволил отреагировать на опасную ситуацию **заранее**. Система пыталась путем усиления информационных сигналов обнаружить следы возможного и опасного для нее будущего, которое неизбежно должно отбрасывать свои тени в настоящее. Это информационное усиление породило особый способ получения сведений о происходящем в колонии – посредством слухов.

Слухи (любая непроверенная информация с претензией на полную достоверность) были без преувеличения доминирующей формой информационного обмена. Они играли значительную роль в информационных процессах как внутри колонии, так и в ее связях с метрополией. Любое сообщение, имевшее отношение к безопасности

---

[1] Самостоятельные военные действия против кочевников, согласно отписке 1636 года из Тобольска, мог производить и Туринск (**Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 509-510). Однако испытывавший хроническую нехватку служилого элемента, последний вряд ли имел возможность ведения таких действий, даже ограниченного характера. Это распоряжение, по-видимому, так и осталось благим пожеланием; во всяком случае, никакой информации о подобных инициативах из Туринска нам не известно.

колонии, вне зависимости от правдоподобности[1], воспринималось как совершенно достоверное (т.е. за ним следовали определенные административные действия). При отсутствии действенного механизма реагирования на чрезвычайные ситуации вряд ли можно считать такую практику серьезным недостатком.

Основными источниками слухов о возможных нападениях были местные инородцы и иногда кочевники, по тем или иным причинам передававшие их часто через посредство все тех же инородцев русской колониальной администрации. Из более чем 70-ти проанализированных нами слухов («вестей»), предупреждавших о несомненно («одноконечно») готовящихся набегах кочевников, лишь по 12-ти из них «вести» подтвердились. Причем доля подтвердившихся слухов составила всего около половины от общего числа совершенных набегов (чуть более двух десятков). Таким образом, подавляющая часть «вестей» работала впустую – на обеспечение защиты от отсутствующей угрозы. Если же учитывать любые тревожные сообщения, касавшиеся кочевников, их близких подкочевок, наличия их сакм (следов), вестей об откочевке их со своих кочевий «неведомо куды», появления подозрительных людей и т.п., каждое из которых вызывало тревогу в колонии, то легко представить себе ту степень настороженности, которой характеризовалось восприятие колониальным населением своей кочевой окраины.

С определенной степенью недоверия относились и к местным инородцам, жившим рядом с русским колониальным населением. В известном смысле «чувствительность» колониальной администрации к «шатости» инородцев была даже острее, чем по отношению к внешней угрозе со стороны кочевников (внутренние флуктуации всегда опаснее для стабильности системы, чем флуктуации внешние). Любые проявления агрессивного поведения со стороны инородцев становились объектом внимания органов колониального управления и предметом активной административной переписки. В практике последней даже появилась особая формула: в инородцах «шатости велеть проведывать всякими мерами тайно всякими людьми». Так, пелымский воевода П. Исленьев отписывал туринскому воеводе Ф. Акинфову, что 27 июня 1612 года

> «извещала пелымского стрельца Титка Иванова жена Оленка Яковлева дочь на пелымского ясачного вагулятина на Янкилдейка Микирова… что пришел тот Янкил-

[1] Например, в ноябре 1645 года панику вызвала весть о сборе калмыков «со 100000», которые «хотят итти войною» (**Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 592)

дейко к ней на двор с утра, и она ему Янкилдейку стала говорить, что де тебе дело ко мне ходити на двор; и тот… Янкилдейко стал ей говорить: много де ты расшумелась, ужо де будем мы вас стрелять; а в те поры была у нее на дворе пелымского пушкаря Данилка Юрьева девка, и та де девка его Янкилдейка бросила щепою и излаяла, что де ты так говоришь, и тот Янкилдейко стал девке говорить: а тебя де мы сожжем…»[1].

Именно этот извет стал основой раскрытия целого «заговора» инородческого населения Пелымского, Березовского и Верхотурского уездов против русского колониального населения. Констатировавший шатость в тюменских и туринских татарах, приказчик Чубаровой слободы М. Харламов отписывал в Туринск в начале 1630 года о таком случае:

«…приехал с Тюмени Туринского острогу жилец плотник Тренка Оксенов, а сказал: как де он ехал на Тюмень в санех, и встретил на дороге дву татаринов на санях… и как де розезжалися, и ево излаяли по руски матерным, и учали говорить: ужо де головы посечом всех руских мужиков, а плетью по саням стегают по Тренькиным»[2].

По всей видимости, настороженность по отношению к инородцам в отдельные периоды достигала такого уровня, когда любые случаи неприязненных отношений между ними и русским населением автоматически подпадали под определение «шатости». Впрочем, даже нейтральные и во многом вполне лояльные высказывания местных инородцев могли стать предметом административного разбирательства. В 1630 году татарин Аккана, находясь у чубаровского крестьянина А. Федорова и

«розговорясь про Ермака, про сибирское взятье, говорил, что ужо де тушман будет, русские де люди все пропадут… и они де ево Аккана спросили: какой тушман откуды будет; и он де им сказал на отбой, что колмаки будут»[3].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 261.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 427.
[3] Там же. С. 426.

Эта на первый взгляд совершенно невинная беседа закончилась допросом у приказчика и перепиской с туринским воеводой. Все это, конечно же, свидетельствовало о слабости колониальной администрации и неспособности ее к адекватному восприятию обстановки, поскольку вынуждало реагировать ее на **любые** сведения о возможной угрозе.

Сам способ получения этой информации детерминировал не только значительные искажения при ее передаче, но и некритическое отношение к ее интерпретации. Относительно частым явлением становятся так называемые *всполохи* – часто не имевшие реальных оснований тревожные вести, вызывавшие панические настроения в колонии. В начале июля 1607 года стало известно на Тюмени от юртовских татар,

> «будто перевозилися Алеевы люди через Туру реку, ниже Тюмени» и «по тем вестем посылали на усть Тоболу проезжую станицу; и те вести пролгалися, не бывало ничего»[1].

Летом 1625 года в Верхотурском и Туринском уездах появились слухи, что

> «на Невье в поле збираютца вогуличи вместе со всем скопом и з женами и з детьми, а про то де на Невье руские люди думы в них не ведают, для чево они вместе копятца»[2].

Об этом же писали крестьяне Невьянской волости в челобитной на царское имя, где указали, что

> «в нынешнем де во 133-м году июня в 21 день верхотурского де ясаку и Туринского острогу ясашные тотаровя и вагуличи, которые живут по рекам по Нейве, и по Нице, и по Режу, из юртов выехали вон з женами и з детьми, и собираютца де те вагуличи и тотаровя на Аять озеро, а ездят де они на то озеро человек по 5, и по 6, и по 10, а где они, едучи на то озеро, станут варить каши или ночевать, и на тех де станех те вагуличи и тотарове стружут стрелы и железца стрельные делают сами; и приезжают

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 233.
[2] Там же. С. 374.

де те вагуличи и тотарове с Ояти озера под Невьинскую слободу ночью и из утра рано подсматривают по 10 и по 15 человек, и те крестьяне видают их многих»[1].

Туринский воевода, видимо имевший какие-то сомнения в достоверности этих сообщений, указал проверить

«все ли есть тотаровя по юртом. И июля в 6 день толмач Беляйко Иванов в Туринской уезд ездил и, приехав, в роспросе сказал, что туринские татаровя и вагуличи живут все по своим юртам, а в отъезде никово нет»[2].

В конце июля 1629 года приказчик Красной (Нижне-Ницынской) слободы Остафий Михалевский отписывал тюменскому воеводе:

«В нынешнем во 137-м году июля в 24 день зделали всполох есашные епанчинской татарин Тиугелдейко Мучнев да Иленского города татарин Чекмаметко Турубаев, даючи вести ночию по юртам иным татарам и на Чюбарово, и в Ницынскую слободу, а сказали, что погромили идучи ис Ката[я] колмацкие люди Букшурских волостей татар на Утеше озере… и, языков побрав, идут в Тюменской да в Епанчинской уезды под государевы слободы. И я по тем вестям их велел крестьяном собратца в острог… а сам хотел допряма проведать, взяв с собою Обуховых юрт татар… в подъезды ездил полтора днища, откуды и чаяли приходу, и на Чюбарово заезжал, про те вести допрашивал, откуды им те вести были; и приказной Чюбаровской Михайло Харламов призывал ис татар епанчинских лутчево татарина мурзу Гилдея Килдибаева, и он сказал: те де татаровя ложно всполох сделали»[3],

на основании чего О. Михалевский просил пожаловать его

«о том велеть сыскать, для чево они такой всполох зделали, не было бы у них каково заводу…»[4].

---

[1] Там же. С. 375.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 375.
[3] Там же. С. 415-416.
[4] Там же. С. 415-416.

В процитированном документе показательна реакция слободского приказчика на тревожные вести. С одной стороны, они заставили его совершенно определенно прореагировать на них («велел крестьяном собратца в острог»), но с другой, вызвали столь же определенную реакцию недоверия («а сам хотел допряма проведать»). Распространенность «всполохов», часто не имевших реальных оснований, еще более наглядно показывает реакция приказчика той же Нижне-Ницынской слободы Ивана Венгеровского на вести о нападении калмыков на Тюмень осенью 1634 года, на этот раз подтвердившиеся:

> «И я тому не веречи [! – В.П.], с Ницы на Тюмень… писал, чтоб допряма про тех про колматцких воинских людей проведать, и на Тюмень ницынских служилых людей дву человек конных казаков… послал»[1].

Подобную реакцию мы видим и у атамана Ишимского острога Юрия Воеводского на сведения **очевидцев** нападения калмыков на Тебендинскую, Коурдацкую и Верх-Вагайскую волости в ноябре 1631 года:

> «И он де Юрей, не поверя им [! – В.П.], посылал с Ишимской заставы служилых людей и татар в подъезд; и служивые де… люди и татаровя, приехав ис подъезду, сказали ему то же»[2].

Однако не всегда разумное недоверие к поступающей тревожной информации могло пересилить страх перед «воинским приходом», что приводило иногда к совершенно курьезным случаям. В декабре 1645 года по Ницынской, Киргинской и Чубаровской слободам пронесся слух о том, что

> «декабря де в 1 день пришед многие колмацкие люди Мурзинскую слободу осадили и многих русских людей в полон поимали»,

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 488-489.
[2] Там же. С. 448.

в результате чего чубаровский приказчик срочно запросил прислать из Туринска служилых людей для «обереганья» слободы[1]. Как вскоре выяснилось,

> «в Мурзинской слободе гулящие люди и крестьяне билися кулаки и подрались, и услышав ту драку, иные гулящие люди 2 человека, а не розведав подлинно, почаяли приходу колмацких людей и, прибежав в Невьянской острог, сказали прикащику Илье Бакшееву, что колмацкие люди Мурзинскую слободу повоевали; а под Мурзинскую де слободою воинские люди не бывали, и на Невье тех гулящих людей ныне сыскивают…»[2].

В 1672 году прокатилась тревожная весть о «воинском приходе» калмыков и башкир под все ту же Мурзинскую слободу из-за ошибочного принятия бежавшего с поля табуна лошадей за набег «воинских людей»[3].

Иногда ложные «всполохи» охватывали не только значительную часть колониальной поселенческой структуры, но и докатывались до Москвы. По отписке Тагильского приказчика Андрея Перхурова на Верхотурье следовало, что в начале декабря того же 1645 года калмыки «повоевали» новую Благовещенскую слободу. В начале следующего года эти вести стали известны в Москве, а оттуда в Тобольске. 31 марта 1646 года тобольский воевода кн. Григорий Куракин в своей отписке выговаривал туринскому воеводе кн. Петру Барятинскому, он

> «де о тех вестях для чево в Тоболеск не писал»[4].

Последний несколько обиженно отвечал:

> «…в Туринском уезде в Благовещенской слободе колматцких людей и вестей отнюдь не бывало, и ложно о вестях писать ни в которые городы нечево»[5].

---

[1] Там же. С. 593.
[2] Там же. С. 594.
[3] РГАДА, ф. 1111, оп. 2, д. 796, л. 29.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 596.
[5] Там же.

Временами «всполохи» вызывали судорожные, и по большому счету бессмысленные, попытки обороны:

> «…как де изменили Березовского уезда все ясашные люди [осенний «процесс» 1607 года над инородцами – В.П.], и они де в те поры на Березове сидели в осаде два месяца, и около города ров копали, и во рву острог ставили, и город крепили…»[1].

Во время инородческих волнений 1612 года:

> «И он де Петр [пелымский воевода Петр Исленьев – В.П.] на Пелыме на посаде половину посадских дворов велел сломати и острогу велел убавити, потому что острогу осадити не кем…»[2].

В 1625 году

> «на Верхотурье и в Верхотурском уезде, на Тагиле и на Невье, учинился всполох по вестям от колмацких людей, и в тот сполох на Тагиле поставили острог около наших житниц, а надолбы не поставлены и ров не выкопан, а на Невье около слободы поставлены надолбы, а острогу поставить и рву выкопать не успели»[3].

В период калмыцких набегов на русские слободы 1635 года из Тобольска было повелено «тотчас» устроить вокруг Нижней Ницынской слободы и острога тройные надолбы,

> «чтоб в приход воинских людей в той слободе сидеть было бережно и крепче»[4].

Поиск ростков опасного будущего в настоящем и их нейтрализация становится одной из специфических функций административной структуры. Проявлением этой функции можно считать и распространение института аманатов или закладов, когда у вызывающих сомнение в благонадежности местных инородцев и кочевников брали временных заложников – «лутчих людей», что в определенной степе-

---

[1] Там же. С. 240.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 263.
[3] Там же. С. 380.
[4] Там же. С. 495.

ни служило гарантом безопасности для колонии на ближайшее будущее. Когда в зиму 1595-1596 гг. из Тюмени бежали 50 человек татар, по царскому распоряжению следовало, если они не вернутся по своим юртам,

> «которые заклады у них в городе сидят… побить для их измены»[1].

В 1613 году, в период «шатости великой» в пелымских вогулах, пелымский воевода Федор Годунов писал государю о вогулах, что «укрепить их нечем», так как «преж сево из вагулич в город в заклад не имывали»[2]. Чтобы не допустить новых волнений, Ф. Годунов уведомил государя о своем решении

> «взяти из волости по человеку побыти в городе в закладе до тех мест как пашенное время минетца»[3],

на что получил выговор:

> «…людей в закладе держишь и тем татар жесточишь… а тем бы ясачных татар не жесточил, в городе их без улики вперед не держал»[4].

Летом 1629 года тобольский воевода кн. А. Трубецкой отписывал туринскому воеводе А. Зубову:

> «Да и в туринских татаровях проведывати тебе тайным обычаем: нет ли в них какие шатости и измены и с царевичем с Аблагеримом и изменники ссылки; а будет в которых татарех почаят такую шатость и измену… и без закладов будет верить им немочно, и тебе б, господине у тех татар имати заклады лутчих людей, поскольку человек пригоже, смотря по тамошнему делу, и держати их в остроге»[5].

«Сановитых» кочевников, бывших в аманатах, отправляли в Москву «под высокую царскую руку», щедро одаривали платьем, сук-

---

[1] Там же. С. 175.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 266.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же. С. 418.

ном и пропитанием. Впрочем, иногда эта практика давала сбои и вызывала противоположную реакцию. Так, в самом начале XVII века по приглашению из Тобольска Кучумовы царевичи

> «отпустили в Тоболеск брата своего меньшово Кубей Мурата царевича на том слове, что, побывав де было царевичю в Тобольском городе и договор учиня о полону, и отпустити было царевича Кубей Мурата к ним назад на срок; а из Тобольского брата их Кубей Мурата царевича назад не отпустили, и тем де их ожестили… А из Тюменского де… города… звали их на государево же имя, и они де в Тюменской город для того же не поехали, а послали де… лутчего человека своего Минлибая абыза ко государю о себе бити челом. И к ним де от братьи их и от людей их, которых отпустили ко государю, вести никакие нет»[1].

Весной 1623 года появились сведения, что поскольку

> «Ишимов посол с Уфы и по сю пору не отпущен, и хочет де Ишим царевич на Уфинской уезд приходить за того своего посла войною»[2].

Еще более ярким примером «модификации будущего» в части нейтрализации его наиболее опасных для русской колонии тенденций являлась практика «охоты на ведьм», проявлявшаяся в поиске и искоренении «шатости про измену» в среде местных инородцев.[3] При-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 196.

[2] Там же. С. 350.

[3] Кстати, подобные явления не редки в истории. Сопоставление конкретно-исторических обстоятельств появления феномена «охоты на ведьм» исключает сколько-нибудь серьезную зависимость его от политического режима, религиозной принадлежности, общего уровня социального развития. Схожим является психологический климат в обществах, охваченных этим явлением. Для всех них в той или иной мере характерна некая инверсия ксенофобии, основанная на иррациональном ощущении угрозы, исходящей извне, но носителями которой становятся сограждане. Природа угрозы чаще всего вербализирована (происки дьявола, иностранных шпионов, вредителей, коммунистов, и т.д.), хотя можно утверждать, что истинная ее причина остается неосознанной.

По всей видимости, в данном случае мы имеем дело с неким общесистемным явлением. Чрезмерные защитные реакции обычно возникают как следствие неспособности системы к адекватному и/или своевременному реагированию на опасные внешние или внутренние флуктуации. Ощущение угрозы,при отсутствии возможности определить ее сущность заставляет систему реагировать на любые (даже самого фантастического

чем думается, что значительная часть этих «процессов» не имела под собой реальных оснований, хотя в существующих мнениях по поводу этих «кампаний» достоверность оснований сомнению не подвергается. Как бы то ни было, представление о «шатости» местных инородцев было широко распространено (а в отдельные периоды и доминировало) в зауральской части русской колонии Сибири.

Осенью 1604 года стрельцами был схвачен сосвенский вогулетин Алпаутка по подозрению в намерении «соляной промысел сжечь и деловых людей побить»,

> «да тот же Алпаутко сказал с пытки, что в 112-м году весною присылали к ним на Сосву лялинские вагуличи вагулятина Иванка Есанчина, чтоб они де сосвинские вагуличи пришли к нам на Лялю, и приходить было им с тагильскими вагуличи на Усть-Ляли реки и громить твой государев пелымский хлеб, а русских людей побить, и к Верхотурью под город с войною приходить, и город сжечь, и по дорогам и на пашнях русских людей побивать было…»[1].

На указание государя о поиске «воров» по инородческим волостям и юртам верхотурский воевода Неудача Плещеев отписывал в Москву:

> «И которых, государь, Верхотурского уезда ближних юртов и волостей сотников и лутчих людей на Верхотурье и призовем и мы холопи твои по твоему государеву указу о ворах у них распрашиваем накрепко, и кормим и поим их по твоему государеву указу довольно, и они, государь, нам холопем твоим про измену и на воров отнюдь не сказывают ничего, и воров и молодых людей, которые умышляют про измену, сходя меж собой во всяком воровстве, укрывают, потому что они сотники и лутчие люди сами воры и с ними воруют с одного, потому что им воровство по се пору пробывало»[2].

---

характера) сведения об источниках возможной опасности. Резкое снижение аналитики компенсируется ростом скорости и силы реакции на те или иные тревожные сообщения.

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 215-216.

[2] Там же. С. 217.

В данном случае показательно совершенно определенное представление власти о местных инородцах и о «лутчих» их представителях как о «ворах». По государеву указу на Верхотурье,

> «сыскав допрема пущих начальных воров, велели потому ж повесити, а иных сажали в тюрьму»[1].

Осенью 1607 года полонянка Осдоня из березовских подгородных юрт пришла в съезжую избу и

> «сказала на всех Березовского уезда остяков измену… что хотели нашу казну и хлебные запасы громить, и служилых и торговых людей побить…»[2].

В измене были обвинены князь Василий Обдорский и его сын Мамрук, остяки лялинские, ломинские, казымские, сосвенские, кодские, березовские подгородные и сургутские ясачные люди и пелымские вагуличи,

> «и изменная у них мысль и ссылка меж себя была одна, а всех де было у них людей в сборе остяков и самоеди 2000 человек, а съезду быть было у них всем людям за неделю до Петрова дня в обской протоке, в Изяпали, выше Березова города 15 верст, и казна было громить и к городу приступить»[3].

В результате недолгого следствия (не более двух месяцев) «пущие воры» были казнены, остальные повинились и были прощены. Ранней весной 1609 года проводилось дознание по поводу слуха, что тюменские служилые татары

> «хотят государю изменить, выехать все вдруг в те поры, как снег станет с поль сходить, а изменя приходити им под государевы городы с колмаками вместе»[4].

Следствие ни к чему не привело, а тюменские служилые и ясачные татары били челом государю

---

[1] Там же. С. 221.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 236.
[3] Там же. С. 237.
[4] Там же. С. 244-245.

«о праведном сыску, что… государю они не изменники»[1].

Летом того же 1609 года посланные на Сосьву для недоборного ясака березовские казаки принесли стрелу,

> «а на ней нарезано 11 шайтанов с рубежи, а поперек шайтаны резаны, и железо стрельное терто; а сказали им те казаки, что они тое стрелу взяли у котского остяка у Кочегомка; и оне тое стрелу казали служилым и торговым людям, и служивые и торговые люди сказали, что наперед сего такие стрелы ходили промеж остяков для измены [известия о хождении «изменных стрел» среди инородцев встречаются и позже – В.П.]»[2].

На пытке Кочегомка обвинил в измене кодскую княжну Анну Игичееву, ее родственников, а также обдорского князя Мамрука, который был

> «со всеми обдорскими остяками и с самоедью с ними в думу готов; а преже де было им… на проезде побивать всяких русских людей и, собрався со всеми остяки, итти было им к Березову городу войною, как будут темны ночи»[3].

Также стало известно, что тобольские юртовские татары

> «и кондинские остяки все с ними войною под Тобольск готовы… а которые остяки на усть Иртыша живут близко, и те остяки с ними ж в одной изменной думе»[4].

Летом 1612 года в Пелым поступила информация,

> «что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пелымской уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с товарищи для воровского совета и умышления; а говорят де они пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году ясаку

---

[1] Там же. С. 245.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 248.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 249.

не хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерских вагулы на Русь в войну везти…»[1].

Пелымский сотник Сынка и «лучшие» пелымские ясачные вагуличи

«в распросе и с пытки сказали, что было де у нас умышление подлинное с березовскими остяки, и вишерскими, и с лозвинскими, и Верхотурского уезда, что де приходить нам преже воевать Пелымской город ныне о Ильине дни или после Ильина дни на первой недели, как сена зачнут косити и хлеб жати, и пришед преже де было зажигать… и промышлять над Пелымским городом, и над воеводою, и над русскими людьми, и выпустоша де было Пелымской город, да итти было в Пермь воевать и в пермские волости»[2].

Преследования продолжались по меньшей мере до конца 1612 года. В декабре пелымский воевода Петр Исленьев отписывал в Туринск, что местный новокрещен говорил ему в распросе:

«…как де у вас на Епанчин поедут по хлебные запасы, и у нас де сдумана дума у всех… что быть на Пелымь всем волостям вместе… и собрався де итти в город… и промышлять, как де позовут в город с ясаком; и нам де в те поры убить меня Петра и всяких русских людей, а достальным де людям зажигать в остроге и достальных русских людей побить…»[3].

«Шатость великая» в пелымских вогулах завершилась тем, что были «многие вагуличи в ызмене переиманы и перевешаны»[4]. «Шатости» в местных инородцах фиксировались и в дальнейшем (1618, 1625, 1629-1630 гг.), однако расследования по этому поводу уже не достигали размаха «смутного времени».

Как мы видим, основная часть сообщений о неблагонадежности сибирских инородцев приходится на периоды кризисных ситуаций в метрополии, главным образом, на период Смуты. Это можно объяснить, во-первых, реальной активизацией недовольного своим поло-

---

[1] Там же. С. 261.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 262.
[3] Там же. С. 263.
[4] Там же. С. 266.

жением инородческого элемента, воспользовавшегося ослаблением русских колониальных структур для изменения ситуации в лучшую для себя сторону. Во-вторых, согласно нашему тезису о неспособности системы к своевременной и адекватной реакции как источнике гипертрофированности защитных реакций, степень проявления последних может быть увязана с мерой ослабления самой системы.

Информационная система видит и находит то, что хочет видеть и стремится найти. Русская колониальная структура, настроенная на поиск в информационном шуме любых сигналов, свидетельствующих об источниках возможной опасности, неявно попадала в ею же созданную информационную ловушку. Поиск подтверждений существования угрозы неизменно находил их, а психология осадного положения во все большей степени определяла мировосприятие и поведение населения колонии. *2002, 2004*

# 4. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАУРАЛЬЯ В XVI – СЕРЕДИНЕ XVIII В.

## 4.1. ПРОМЫСЛОВОЕ ОСВОЕНИЕ

Прежде всего, необходимо более отчетливо определить смысл используемого нами термина «промыслы». Считаем целесообразным следующее подразделение его значений: во-первых, промыслы первого рода как тип хозяйственного освоения (наряду с земледелием и скотоводством); во-вторых, промыслы второго рода как тип вторичной хозяйственной деятельности, основанной на переработке ресурса, добытого освоением первого рода (промысловым, земледельческим или скотоводческим). Промыслы второго рода в силу своей вторичности и несамодостаточности играли весьма незначительную роль в организации населения колонии и особо рассматриваться нами не будут.

Имеющая тесную генетическую связь (не только этимологическую, но и сущностную) с промыслами, промышленность будет также затронута в нашем исследовании в той мере, в какой она влияла на рассматриваемые нами аспекты пространственной организации населения. Как и в случае с промыслами, считаем необходимым разделить промышленность на промышленность первого рода (связанную, как правило, с добычей ресурса и его первоначальной обработкой), являвшуюся непосредственным фактором организации поселенческой структуры, и на промышленность второго рода (занятую обычно переработкой ресурса или товарным производством), не игравшую заметной роли в этом процессе в исследуемый период и которая специально рассматриваться нами не будет. Тенденцию, по которой добывающая промышленность максимально приближается к районам концентрации сырья, а обрабатывающая и производящая – к районам наибольшего скопления населения, т.е. к уже существующей поселенческой структуре, ранее отмечал в своем исследовании А.В. Дулов[1].

Самое общее представление о характере промыслов того времени как способе освоения может дать семантический анализ самого термина «промыслы» (ср.: промышлять, т.е. покорять, приводить к покорности, завоевывать). Привлекая к этому анализу основные положения концепции осваиваемого пространства, можно более отчет-

---

[1] **Дулов А.В.** Географическая среда и история России. Конец XV – середина XIX в. – М.: Наука, 1983. – С. 98.

ливо определить и сущностные черты *промыслового освоения* как такового.

Объектом этого типа освоения (присвоения) являются ценные и/или редкие виды материальных ресурсов. Причем, ограничения доступности этих ресурсов, как временные (сезонность или исчерпаемость), так и пространственные (локальность), делали их присвоение негарантированным, а само это занятие рискованным. Чрезвычайная сложность и непредсказуемость привходящих факторов, влияющих на успешность занятия промыслами, должны были детерминировать чрезвычайный характер и некоторую авральность присвоения промыслового ресурса. Все это определяло наличие особых качеств у людей, занятых промыслами – решительность, находчивость, целеустремленность. Вместе с тем, нестабильность ресурса, делавшая информацию о нем **объективно** неопределенной, а также несоизмеримость затрат на его присвоение с возможными выгодами, укрепляли такое человеческое качество как авантюризм. Как отмечал П.М. Головачев,

> «неразборчивость в средствах, жадность к добыче представляли общия типическия свойства первых сибирских землеискателей»[1].

Одним из первых комплексных свидетельств о Зауралье как объекте торгово-промыслового освоения, видимо, можно считать интереснейший литературный памятник конца XV–XVI веков – «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране». Содержанием своим оно напоминает широко распространенные в средневековье фантастические землеописания. Вместе с тем, реальность лежащих в его основе сведений является практически доказанной. Не вызывает сомнения новгородское происхождение этого сказания и, как пишет его исследователь Д.Н. Анучин,

> «многия подробности статьи указывают на то, что составителем ея было лицо, хорошо знакомое с северной природой, с местными названиями и что он был человек

[1] **Головачев П.М.** Указ. соч. С. 18.

торговый, интересовавшийся по преимуществу тем, у какого народа есть какой товар»[1].

В период времени, предшествовавший колонизации Сибири, полуторговые-полуграбительские сношения новгородских ушкуйников с местным сибирским населением (впрочем, как и любые другие обменные операции между экономически разноуровневыми обществами) можно с полным основанием считать специфическим способом промыслового освоения. Здесь мы видим всю ту же несоизмеримость доходов с затратами, ту же достаточно высокую степень риска, ту же чрезвычайность.

В противоположность распространенному среди исследователей текста Сказания мнению о намеренно «страшном» изображении зауральского края и жителей его населяющих, Д.Н. Анучин впервые попытался обосновать взгляд на этот источник как на вызванный потребностями практики путеводитель, который совершенно не имел цели запугать своего читателя. Действительно, фантастичность его имеет совершенно объективные причины, а сведения в нем содержащиеся являются «страшными» во многом лишь в представлении современного исследователя. Любая информационная структура, столкнувшись с принципиально новой внешней информацией пытается объяснить (освоить) ее с помощью привычных (своих) описательных средств, а для фактов, неподдающихся такому объяснению (освоению), ограничивается выработкой определенного алгоритма поведения, максимально безопасного в рамках неосвоенного контекста. Сказание дает своему читателю самые необходимые сведения как о торгово-промысловой конъюнктуре Зауралья, так и о способах налаживания контактов с местным населением. Некоторые бытовые обычаи последнего, не нашедшие у автора сказания сколько-нибудь осмысленных (в том числе и фантастических) объяснений, вызвали появление своеобразных «инструкций» как действовать в этих обстоятельствах, не потерпев ущерба или гибели.

Как заметил еще один исследователь истории ознакомления с Сибирью до Ермака А. Оксенов:

> «Без сомнения находились немногия отдельныя лица, знавшия, до известной степени, Зауральский край, но их географическия и этнографическия сведения об этой

[1] **Анучин Д.Н.** К истории ознакомления с Сибирью до Ермака (Древнерусское сказание «о человецех незнаемых в восточной стране») // Древности. Труды Императорского Московского археологического общества. – Т. 14. – М., 1890. – С. 228.

стране оставались их личным умственным достоянием и не входили в общее сознание»[1].

Более того, объективные сведения (если они вообще возможны в данной ситуации) не могли стать достоянием сознания общества, впервые сталкивающегося с новой внешней информацией. Это противоречило бы всем правилам протекания информационных процессов в социуме в подобных условиях. Таким образом, хотя информация о Зауралье и имела на Руси скорее фольклорный, нежели описательно-географический характер, она вызывалась вполне определенными практическими потребностями и не вызывала реакции отторжения или страха.

Пушное изобилие, как писал Г.Ф. Миллер, привлекало

> «в Сибирь множество людей из областей российских не токмо для прибыльных тамошних торгов, но чтоб и за находящимися там в великом множестве дикими дорогими зверьми самим ходить на промыслы…»[2].

Впрочем, и сама сибирская торговля, не основанная на сколько-нибудь эквивалентном обмене, как мы уже показали, являлась своеобразным видом промысла. Не случайно, видимо, близкое соседство «промышленных» и «торговых» людей в документальных материалах XVII столетия, причем в ряде случаев разделить эти категории по их функциям чрезвычайно трудно. Так, например, в 1624 году тобольский воевода Ю. Сулешов писал в Москву,

> «что приезжают из русских городов в Тоболеск торговые и промышленные люди с русскими со всякими товарами и с хлебными запасы, а ис Тобольска ездят торговати и на промыслы промышляти в сибирские в понизовые городы: в Сургут, в Нерымской и в Кетцкой остроги, в Томской город, в Мангазею, а в тех городех, испродав свои товары и хлебные запасы, промышленые люди, быв на промыслех, ездят к Руси»[3].

Поскольку промысловый тип освоения является наиболее мобильным и имеет высокую собственную скорость распространения,

---

[1] **Анучин Д.Н.** Указ. соч. С. 238.
[2] **Бахрушин С.В.** Г.Ф. Миллер… С. 58.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 366.

промысловики оказывались подчас единственными носителями пространственной информации относительно еще не заселенных русскими земель. В начальный период колонизации промышленные люди оказывали самую серьезную помощь в информационном обеспечении действий сибирской администрации. Как писал Г.Ф. Миллер:

> «Оные промышленные отваживались заходить в наидальнейшие дикие места и тем получали как о подлинном тамошних стран состоянии, так и о жителях такие известия, которые начальствующим в построенных уже городах необходимо нужны были для получения в дальних своих предприятиях доброго успеха. Когда казаки новоприисканных народов покорять не были в состоянии, то множество промышленных добровольно казакам чинили вспоможенье. Одни за другими всегда ходили далее внутрь земли»[1].

О тесной связи служилого и промыслового элемента свидетельствуют царские грамоты, где им предписывалось сообща не только земли «разведывать», но и над враждебно настроенным местным населением «поиск и тесноту учинити»[2].

П.Н. Павлов убедительно показал, что «непосредственно государство не было конкурентом промышленников и торговцев пушниной», напротив, последние были одним из орудий административного освоения[3]. В соответствии с этим, государство изначально стремилось к сосредоточению в своих руках потоков пушнины из колонии в метрополию или, по меньшей мере, к контролю за ними. Однако ему все чаще приходилось сталкиваться в этом своем стремлении с интересами частных лиц, интересами, которые уже нельзя было сочетать с интересами государева фиска. В указе царя Бориса Федоровича от 9 апреля 1601 года было писано

> «что сибирских городов служилые люди ездят по городам торгуют мяхкою рухлядью безпошлинно; и сибирским служилым людям мяхкою рухлядью торговати не велено; и о том велено заказ учинити крепкой, чтоб однолично вперед, опричь торговых людей, мяхкою рухля-

---

[1] **Бахрушин С.В.** Г.Ф. Миллер… С. 58.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 271-273, 279-280.
[3] **Павлов П.Н.** Промысловая колонизация Сибири в XVII веке. – Красноярск, 1974. – С. 20-24.

дью не торговал ни каков человек; а будет кто из служилых людей учнет мяхкою рухлядью торговати, и у тех людей товары их имати на государя; а за ослушанье велено их бити батоги и сажати в тюрьму»[1].

Летом 1601 года царь Борис Федорович писал в Туринск голове Федору Фофанову:

«И ныне нам ведомо учинилось, что прежние воеводы, будучи в сибирских городах, воровали… гонялись, живучи, они все за тем, чтоб им друг перед другом ясаку и поминков собрати больше прежнего, а того не прочили, чтоб та прибыль вперед прочна была и стоятельна; и приехав к Москве, нам тем бьют челом, что они, живучи в Сибири, в своих городех в ясакех прибыль учинили великую… и веря их воровскому челобитью, давано им за то наше жалованье, а иным и поминочная рухледь отдавана; а ныне от их воровские прибыли и ложного челобитья в сибирских городех многие волости ставятся пусты»[2].

К концу XVII столетия добыча пушнины и торговые операции с ней почти полностью перешли в теневую сферу, не без участия и при прямой выгоде местных сибирских властей. В наказе 1692 года таможенному голове г. Верхотурья читаем:

«…и для того на Москве в Сибирском приказе в казне Великих Государей доброй мягкой рухляди соболей и лисиц и бобров и шуб собольих и лисьих из Сибирских городов в присылке не объявляется; а на Москве и по иным городом на гостинных дворех и в рядех объявляется у торговых и у промышленных людей многая добрая мягкая рухлядь, соболи и лисицы дорогие; а знаю, что та добрая мягкая рухлядь Сибирских воевод и Дьяков и письменных Голов…»[3].

Однако не только «мягкая рухлядь» интересовала государство в качестве объекта промыслового освоения. Осенью 7161 (1652) года послан был из Верхотурья стрелец Митька Балакин с тремя подво-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 197-198.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 199.
[3] ПСЗ РИ, т. III. С. 130-131.

дами в Исетскую слободу на реку Исеть копать ревенный корень. То, что такие «отъезжие промыслы» совершались относительно регулярно, хотя, видимо, недавно, говорит жалоба на непрочность железных рогатин для копки ревеня:

> «…и те де рогатки копали на Исете корень ревень негоже и мне те рогатки велеть переделать на заступы железные…»[1].

В этом же году последовал государев указ ирбитскому приказчику Перхурову ехать на Исеть, «а с ним де быть на Исете для государева дела копать корень ревень ирбитским всем беломестным казакам», для чего велено было давать им государева хлеба из ирбитских житниц[2]. Таким образом, государство также играло определенную роль в промысловом освоении южной периферии русского расселения, хотя, как правило, объектом государевых интересов становились лишь высокодоходные виды промысловых ресурсов. То, что в рассматриваемый период в их число входил и ревень можно видеть из достаточно многочисленных административно-правовых актов того времени, где значение ревеня для государевой казны едва ли не превышало значение пушнины, а несанкционированная копка ревеня и торговые операции с ним карались конфискацией всего имущества и смертной казнью[3].

М.К. Любавский, рассуждая о влиянии промыслов на размещение русского населения, утверждал, что промыслы, в частности, занятие звероловством,

> «не позволяло русскому населению скучиваться в ограниченных пространствах, а влекло его к занятию возможно большей территории. В поисках за зверьем русские люди проникали все далее и далее в лесную глушь и, найдя богатые звериные угодья и подходящее место для усадьбы или пашни по соседству с угодьями, оставались на нем на постоянное жительство»[4].

Этот общий для многих пределов русского расселения сценарий, по мнению М.К. Любавского, осуществлялся и в Сибири. Местное

---

[1] РГАДА, ф. 1111, оп. 2, д. 754, л. 12.
[2] Там же. Л. 33.
[3] СГГД, ч. IV. С. 28-29; ПСЗ РИ, т. I. С. 442-444; т. IX. С. 412-413, 531; т. X. С. 398-399.
[4] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 84.

население, для покорения которого и «основывались, главным образом, русские колонии, при своей малочисленности жили вразброд»[1], занимаясь такими промыслами, которые не позволяли им скучиваться.

> «В поисках за ними и русские люди разбрелись по всей Сибири и поставили как бы станциями для себя свои городки, сторожки и зимовья. Сами промыслы, которым обратились русские люди в Сибири, заставляли их также расселяться по стране. Не говоря уже о звероловстве, даже земледелие заставляло русских людей сплошь и рядом расходиться на далекие расстояния»[2].

Действительно, нужно признать, что земледелие, еще не став самостоятельным стимулом колонизации и на территории, где занятие им не могло стать ведущим типом хозяйствования насельников, тоже являлось своего рода промыслом, для которого характерны разбросанность и истощаемость ресурса (ср.: повеление «промышлять пашнею» в царском указе на Тюмень в середине 90-х гг. XVI века[3]). Поэтому и его влияние на процессы русского заселения и расселения, по крайней мере в начальный период колонизации, должно было быть весьма сходным с действием промыслового типа освоения.

Вместе с тем, следует заметить, что в части способов индивидуального промыслового освоения Зауралье, в рассматриваемых нами рамках, отличалось от остальной территории Сибири. Спецификой зауральского индивидуально-промышленного освоения следует считать его длительность и почти исключительно торговый, т.е. опосредованный, характер. П.Н. Павлов отмечал только в Сургутском уезде некоторую активность постоянного русского профессионального промысла на территории восточнее Урала[4]. Непосредственной промысловой деятельностью на зауральской территории русские занимались преимущественно в южных районах, где не очень большая ценность объектов промысла с лихвой компенсировалась их многообразием.

В одном из литературных памятников эпистолярного жанра середины XVIII столетия – «Переписке о Сибирском изобилии» – мы

---

[1] Там же. С. 239.
[2] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 239.
[3] **Павлов П.Н.** Указ. соч. С. 207.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 174.

видим определенный набор объектов промысла, еще имевших свое значение к концу исследуемого периода. Несмотря на тенденцию к идеализации сибирских условий (сочинение построено на объяснении выражения «Сибирь – золотое дно»), видимо можно считать указанные здесь объекты промыслового освоения если не изобилующими, то, по крайней мере, достаточными для сохранения самого этого аспекта освоения. Согласно автору этого сочинения, территория Зауралья от Верхотурья до Тобольска и южнее просто изобилует звериными промыслами: лосиными, лисьими, горностаевыми. К северу,

> «в Пелымском уезде, и в четырех ясашных волостях Кошуцких, Кондинских, Козмодемьянских и Коцких городках до Березовскаго уезда собольи и бельи промыслы бывают довольные. Рыбныя ловли во всех тех местах можно по справедливости называть изобильными, а рыбы нельмы, язи и прочая, под именем белых рыб щуки, окуни, чебаки и протчия…»[1].

Изобилие и разнообразие «знакомых» русским ресурсов неизбежно должны были вызвать соответствующую реакцию колониального населения. Действительно, очень многие источники свидетельствуют об особенной интенсивности, даже тотальности, русского промыслового освоения новозаселяемых территорий. В 1620 году туринские ясачные татары писали в челобитной, что А. Бабинов с товарищами

> «в вотчине их житьем живут и лесуют звери, лоси и соболи и лисицы бьют, а в речках бобры выбивают и рыбу ловят и хмель дерут»[2].

В 1635 году ницынские ясачные татары жаловались на крестьян Ницынской Ощепковой слободы, которые

> «пашенные места и сенные покосы отняли, и леших собак выбили и в лесах зверь: лоси, и соболи, и лисицы, и в бобровых речках бобры побивают, и в реках, и в запертых истоках, и в озерах рыбу ловят, и в хмелевых наших

---

[1] РГАДА, ф. 199, № 150, ч. 16, д. 16, л. 1 об.- 4.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 294.

ухожьях хмель дерут, и в лесах слопцы ставят своим насильством»[1].

Некоторая предвзятость подобных источников с лихвой компенсируется частотой таких сообщений. В этой связи также представляет интерес замечание пелымских ясачных людей о недоборе ясака за 1608 год:

> «…а нынеча де нашего ясаку по-прежнему окладу платить вперед нечем, зверя стало мало, потому что место обрусело»[2].

В этом смысле, по-видимому, следует интерпретировать и следующее замечание второй половины XVIII столетия:

> «…зверей поблизости города Березова по неимению удобных мест неимеетца… для ж рыбных и птичьих промыслов при городе по неудобству мест промыслов больших не бывает… а большею частию для продовольствия своего как рыбу равно и птицу получают от ясашных народов, как в их селениях рыбных и птичьих промыслов состоит по реке Оби и при протчих местах весьма изобильно…»[3].

По свидетельству С.В. Бахрушина, во времена Г.Ф. Миллера существовало предание, что Березов основан на месте промышленного зимовья[4], что в некоторой степени позволяет предполагать о былом промысловом изобилии этих мест. По всей видимости промысловые угодья в окрестностях крупных русских поселений Зауралья истощались очень быстро. Многообразие известных русскому населению ресурсов вызывало тотальность их присвоения.

Истощение объектов промысла вызывало необходимость освоения отдаленных от пределов русского заселения источников данного ресурса. Т.С. Мамсик совершенно справедливо отметила как особенность «забегание вперед» в процессе присвоения промысловых ресурсов[5]. Инок Далмат, основывая Успенскую пустынь «в четы-

---

[1] Там же. С. 501.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 241.

[3] ТФ ГАТюО, ф. 341, оп. 1, д. 349, л. 83 об.- 84.

[4] **Бахрушин С.В.** Научные труды… С. 82.

[5] **Мамсик Т.С.** Хозяйственное освоение Южной Сибири: Механизмы формирования и функционирования агропромысловой структуры. – Новосибирск: Наука, 1989. – С. 28.

рех днищах пути от сибирских городов и слобод», в краю, где, по выражению Г.С. Плотникова, «до того дикие звери только плодились, как на любимом приволье»[1], тем не менее застает здесь невьянских и ирбитских промысловиков. Впрочем, и выбрал он это место не сам, а «по указанию киргинского поселянина Семена Тимофеева Сосновского»[2]. Впоследствии, по челобитной 1686 года, уже сам Далматовский Успенский монастырь завел Уйское хозяйственное (почти исключительно промысловое) поселье далеко за пределами русского заселения. Всего монастырь получил следующие угодья:

> «речку Уй, источину, три больших курьи, затоны, озерка, самый Тобол вниз от Уя на 12 верст, а между рыбными промыслами – сенные покосы и хмелевыя угодья…»[3].

Еще одной особенностью этого «забегания» оказалось то, что подобные промысловые анклавы оказывались удобным плацдармом для создания постоянного русского населения и расширения сферы присвоения местных ресурсов. Так, уже через год после создания вышеупомянутого поселья, у монастырских рыболовов появились соседи – пашенные крестьяне Маслянской слободы. Причина их появления здесь была та же, что и у монастырских работников – оскудение рыбных ресурсов. По челобитной маслянские крестьяне получили во владение «рыбные промыслы, луговыя и наволошныя места», которые

> «были отведены выше отводу Успенского Далматовского монастыря вверх по Тоболу реке от межьей речки от Уя до речки Абуги по досмотру и по переписным книгам Окуневской слободы слободчика Фетьки Качесова, при посредстве старцев Саватья и Офонасья и блиских тутошных жителей»[4].

Если в исследуемый период промыслы являются почти непременным атрибутом крестьянского освоения, то в дальнейшем наблюдается тенденция к превращению их в сравнительно редкую, «любительскую» и, по большому счету, малоприбыльную деятельность. В

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3177, л. 1.
[2] Там же.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 173-173 об.
[4] Там же. Л. 174-174 об.

начале XIX столетия курганский земский исправник доносил губернатору, что

> «ловлею зверей, птиц и рыбы во всех волостях малая часть жителей занимается… Но вообще все сии промыслы маловажны…, неизбыточны и служат более к собственному жителей продовольствию, некоторою ж частию и на продажу»[1].

В Ишимском уезде

> «всею промышленностию зверей, птиц и рыбнаю ловлею занимаютца поселяне летом в свободное от полевых работ время, а зимою тогда когда более на весь тот промысел настоит удобность, и не все вообще, а имеющия к каждому промыслу способность и охоту…»[2].

Подобное положение с промыслами характерно и для других местностей Зауралья в этот период.

Особо следует остановиться на соляном промысле, который совмещал в себе признаки как промыслового, так и промышленного освоения. От первого для него были характерны сезонность, от второго – технологичность. В 1600 году пелымский стрелец Васька Осетр нашел соляной рассол на речке Покчинке, в 10 верстах от города. От тобольского воеводы последовало распоряжение найти подходящее место для организации варницы[3]. Однако уже в этом же году предпочтение было отдано соляному ключу на реке Негле (Нагре) в том же Пелымском уезде. Нашедший соляной выход Ворошилко Власьев доносил,

> «что в той речке ключи соляные и росол добр и соли наварить мочно, а где варницам быть, и к тому де месту лесу много и близко, и дубровы де пашенные и луги есть, и людям де жить мочно»[4].

По отписке тобольского воеводы на то место отправлены были, помимо «соляных варцев», сын боярский Василий Албычев

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 329, оп. 13, д. 157, л. 19.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 329, оп. 13, д. 157, л. 59.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 184-185.
[4] Там же. С. 188.

«с стрельцы и пашенными крестьянами и вагуличи под варницу и под весь варничный обиход место расчистить, и варницу, да амбар на соль, да двор, да на дворе две избы да клеть поставить, и дров к соляному варенью приготовить, и уголья жечь, чтоб ни за чем соляное варенье не стало»[1].

Однако после волнений вогулов осенью того же года[2], царской грамотой верхотурскому голове было повелено на соляной промысел посылать в прибавку пелымским служилым людям с Верхотурья

«стрельцов и казаков попеременно, без сколька человек у соляного промысла быть нельзя, или б приговорить из найму из тутошних из гулящих людей помесячно или на год… А пашенных людей и вагулич к соляному промыслу не посылал, чтоб их тем не ожесточить»[3].

Несмотря на волнения вогулов и на то, что «варничново леса добыть не мочно, лес поудалел и мерзл», власти шли на любые меры, что бы только «варничное дело ни за чем не стало». Связано это было с тем, что на зиму 1600-1601 годов на данный промысел была возложена задача «соли наварити на расход на все сибирские городы»[4]. Правда надежд этих он не оправдал, поэтому последующие распоряжения

«велели Ворошилку соляной росол по речкам сыскивати и проведывати и вогулич про соляную воду роспрашивать, чтоб росол найти лутче прежнего и соль завести варить, чтоб однолично вперед в сибирские города с Руси соль не посылати»[5].

Г.Ф. Миллер утверждал, ссылаясь на грамоту от 2 февраля 1606 года, что в 1605 году солеварение здесь прекратилось, а все снасти перевезли на Верхотурье[6]. Однако грамота №82 1609 года[7]

---

[1] Там же. С. 188.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 190.
[3] Там же. С. 191.
[4] Там же.
[5] Там же. С. 201-203.
[6] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. – Т. II. – С. 21.
[7] Там же. Приложения. С. 246.

позволяет думать о существовании промысла по крайней мере до этого времени.

Столь большое значение, придаваемое администрацией соляному промыслу на Негле, явно убыточному, отчасти объясняется временной недоступностью других промысловых источников. Хотя походы «по соль» на Ямыш озеро осуществлялись по крайней мере с 1601 года, они не были регулярны (до 1615-1620 гг.) и были сопряжены с большой опасностью[1]. Тобольский воевода И. Катырев-Ростовский отписывал в Тюмень, что в 1611 году

> «послано на Тюмень из Тобольска тюменским служивым людем на жалованье соль в полы их окладов, потому что в Тобольске соли нет, а с Тары соль по два года не присылована для того, что калмыки озера отняли, и вперед будет соли из Тобольска в городы служилым людям на жалованье послати нечего»[2].

Весной следующего года планировалось послать «к соляным озерам по соль из сибирских городов служивых людей и татар в судех и полем на конех» и с «вогненным боем»[3]. Чрезвычайный характер присвоения данного ресурса, сравнимый по своим масштабам разве что с небольшой военной операцией, хорошо иллюстрирует специфику промыслового освоения в целом.

*2002*

## 4.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ

Насколько можно судить по дошедшим до нас письменным источникам, территории, расположенные за «Камнем» (Уральскими горами), уже изначально рассматривались русскими властями как потенциально богатые рудными месторождениями. Так, в жалованной грамоте царя Ивана Васильевича от 30 мая 1574 года Якову и Григорию Строгановым на земли по Тоболу особо оговаривался промышленный аспект освоения этой территории:

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 663.
[2] Там же. С. 259.
[3] Там же.

«А где в тех местех найдут руду железную, и им руда делати; а медяную руду, или оловяную, и свинчатую и серы горючие где найдут, и те руды на изпыт делати…»[1].

Трудно сказать, на чем основывалось убеждение властей о наличии здесь упомянутых ископаемых. Оно могло проистекать как из слухов, бытовавших на Руси, о так называемых «чудских» металлических изделиях, так и быть следствием стереотипного представления об общераспространенности, или, по крайней мере, частой встречаемости, рудных месторождений. Вообще, складывается впечатление, что первые колонисты имели какие-то не вполне понятные нам сегодня основания для надежды на нахождение в этих местах указанных ископаемых.

Как бы то ни было, огромные рудные богатства Урала не были востребованы вплоть до XVIII столетия. И это на фоне неоднократных попыток в течение XVII века найти железную руду в равнинном Зауралье, в местах, далеких от будущих горных разработок. Вокруг скудных рудных выходов даже возникало некое подобие конкурентной борьбы. Первого июня 1628 года в съезжую избу Туринского острога пришел ясачный татарин Тантелейко Тентюков и сказал, что

«есть в Туринском уезде у наших юртишков вверх по Нице по реке болото кругом его с версту, а растет по нем камыш, и в том болоте чают де быть железной руде»[2].

Впоследствии оказалось, что на том же месте ранее «по тоболескому наказу сыскал железную руду сын боярской Иван Шульгин»[3], вследствие чего туринскому воеводе пришлось давать объяснение в Тобольск.

Эта находка дала начало первому металлургическому заводу в Зауралье – Ницынскому. Он открылся в начале 1630-х гг. и работал с сентября по май. Приписанные к нему 16 крестьянских семей должны были вырабатывать за сезон до 400 пудов железа. От этого завода осталось очень мало сведений, известно лишь, что он был закрыт в 80-х гг. XVII века за убыточностью. Однако из этого завода выросло целое поселение железодобытчиков-кустарей – Рудная слобода. В 1669 году открылся Федьковский железоделательный завод. О нем неизвестно практически ничего; в 90-е гг. он прекратил свое сущест-

---

[1] Там же. Т. I. С. 333.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 394.
[3] Там же. С. 395.

вование. Вряд ли данные предприятия сколько-нибудь превосходили современные им крестьянские «железные промыслы». Л.Е. Иофа отмечал, что

> «заводы эти отличались малыми масштабами и технически были примитивны даже для своего времени»[1].

Еще одним из промышленных очагов XVII столетия в Зауралье было так называемое Железенское поселье, заведенное в 1682 году игуменом Далматова монастыря Исааком при впадении в Исеть речки Железенки (Каменки) в 70-ти верстах от монастыря. По приказу тобольского воеводы кн. А.А. Голицына от 28 июня 1682 года тобольскому боярскому сыну Федору Рукину следовало при старосте Колчеданского острожка А. Авраамове и при иных посторонних людях

> «на той Железенской речке железную руду по обе стороны тое речки, лесные и чистые места и всякие угодья в тех урочищах отдать в Успенскую оптину пустынь Далматова монастыря»[2].

То, что в данном случае нет особого упоминания о пашенных и сенокосных угодьях (в подавляющем большинстве подобных отводов такие сведения – обязательный атрибут), косвенно свидетельствует в пользу того, что основным мотивом приобретения данной земли монастырем явилась именно железная руда.

Как констатировал Л.М. Каптерев,

> «этими кустарными предприятиями и вялыми разведками исчерпывается вся уральская “горная промышленность” XVII столетия»[3].

Игнорирование уральских рудных богатств объясняется обычно отсутствием потребности в высококачественном железе, каковая якобы возникла только в результате новых промышленных нужд петровской эпохи, в частности, при вступлении России в войну со Швецией, т.е. с конца XVII столетия. Однако факт весьма настойчивых поисков

---

[1] **Иофа Л.Е.** Города Урала. Ч. I. Феодальный период. – М.: Изд-во геогр. лит-ры, 1951. – С. 77-86.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, оп. 1, д. 5, л. 2-3.
[3] **Каптерев Л.М.** Указ. соч. С. 14.

железной руды в Зауралье на всем протяжении XVII века говорит об обратном.

Л.Е. Иофа попытался обосновать свою точку зрения по этому вопросу, согласно которой позднее обнаружение горных богатств Урала было обусловлено его более поздним заселением[1]. Несмотря на кажущуюся логичность этого объяснения, позволим себе с ним не согласиться. Во-первых, корреляция мест присвоения ресурса с местами размещения населения весьма относительна, достаточно вспомнить промысловое освоение. Во-вторых, организация населения на той или иной территории сама зависит от имеющейся информации о наличии здесь тех или иных ресурсов. Данный тезис позволяет сделать следующее предположение: само становление горнозаводского Урала только в XVIII столетии во многом объясняется тем, что данный район вплоть до конца предыдущего, XVII-го, века был в этом плане информационно пуст, «прозрачен». Не исходила из этого района информация, которая бы могла инициировать его горнопромышленное освоение. В этой связи интересен анализ обозначений этой территории. До XVIII столетия *Урала* как пространственно содержательного понятия не существовало. Бытовало наименование *Камень*, обозначающее границу (абстрактный разграничитель) между метрополией и колонией, что лишний раз показывает отсутствие у него сколько-нибудь протяженного (пространственного) содержания. И лишь в XVIII столетии данная территория уже под именем «Урал» заявляет о себе как о протяженном и информационно наполненном образовании. Иными словами, именно рубеж XVII–XVIII вв. явился временем действительного открытия Урала, когда пространство, казавшееся до того времени качественно однородным, стало вдруг резко дифференцированным.

Однако причины возникновения такой пространственной метаморфозы все же требуют своего объяснения. Сколь настойчивые, столь и бесплодные попытки найти рудные выходы промышленного значения в течении XVII столетия предпринимались в Тобольском, Тюменском, Туринском уездах. Кажущийся странным выбор мест этих поисков перестает быть таковым, стоит посмотреть на него с точки зрения информационной теории.

Информационная система ищет искомое не там, где оно есть, а там, где надеется его найти. Устойчивый информационный образ (стереотип) относительно взаимосвязи гористой местности и рудных месторождений в это время еще не сложился или был слаб. Если

[1] **Иофа Л.Е.** Указ. соч. С. 12, 75.

учесть, что в европейской части Русского государства железо извлекали по преимуществу из дерновых и болотных руд, а встречались они практически повсеместно, то поиск руды в равнинном Зауралье был вполне ожидаем. Инерцией этого стереотипа, по-видимому, можно объяснить продолжение поисков здесь руды даже в половине следующего столетия. Возникшие, однако, к середине XVIII столетия рудные прииски на равнинной части Зауралья уже к концу века состояли «без всякого действия»,

> «поелику в Тобольском наместничестве горных заводов и знающих свойство руд людей никого неимеетца…»[1].

Вместе с тем, к середине XVIII века старый стереотип уступил место новому. Так, уже Г.Ф. Миллер выразил некоторое удивление характером местности по Нице – болотистой и поросшей камышом, где в 1628 году нашли железную руду. По его мнению, это были «признаки, редкие для рудоносных мест, но подтвердившиеся на деле»[2].

При кустарной выделке железа сырьем служила поверхностная руда – болотная или дерновая. Однако даже в крупной промышленности XVIII века преобладали неглубокие ямные разработки, при которых руда добывалась «в разнос», т.е. открытым способом. Подземные (шурфные или шахтные) разработки применялись лишь после истощения поверхностного рудного слоя[3]. Доступность рудных ресурсов позволяла зауральским крестьянам даже при минимуме квалификации добывать руду и обрабатывать ее. Тем более что примитивная металлургия была составной частью традиционных крестьянских промыслов, чему в немалой степени способствовало практически повсеместное распространение болотных, озерных и дерновых руд на территории Европейской России[4]. Впрочем, имеющиеся сведения заставляют говорить о том, что значительная часть этих знаний уже была утеряна колонистами, причем даже теми из них, для которых эти знания были профессионально необходимыми – кузнецами. Привезенная в 1628 году с болота по Нице руда была показана туринским кузнецам по поводу целесообразности производства из нее же-

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 341, оп. 1, д. 199, л. 1-1 об.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Т. II. С. 91.

[3] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противоречия (XVIII – первая половина XIX века). – М.: Наука, 2000. – С. 34-35.

[4] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 8.

леза. Однако оказалось, что они не имеют об этом ни малейшего представления:

> «да того и не видали, как железо плавят, и то де нам дело не за обычай, потому что мы куем из готового железа»[1].

Даже к концу XVII столетия сибирские кузнецы показывали свою несостоятельность в деле, привычном для их коллег из Европейской России. Когда для новопостроенного в 1684 году острога в архиепископском селе Воскресенском потребовалась пушка с ядрами, выяснилось, что

> «в Тобольску ковать их было некому, таких умеющих кузнецов и железных рудоплавов там не нашлось…»[2].

И только весной 1696 года пушка и 50 ядер, вылитые на Железенском поселье Далматова монастыря, были отправлены в острог Воскресенского села[3]. Прикладные знания, не имеющие в новых условиях своего приложения, быстро атрофируются.

Некоторое развитие кустарных «железных промыслов», наблюдавшееся в XVII веке по рекам Нице и Нейве, было связано как раз с находками привычных болотных и дерновых рудных выходов. По прибытии в 1722 году в Сибирь, В.И. Геннин, возглавивший казенное горное ведомство на Урале, писал, что

> «Арамильской слободы крестьяне Федор Бабин с товарыщи объявили ему железную руду, обысканную близ реки Сысерти, о которой при объявлении ея доносили, что она обретена назад тому лет с сорок Арамильской слободы крестьянами, которые из оной руды до зачатия заводов… делали чрез малые печи и употребляли в продажу железо и со оного десятую платили в Арамильскую земскую контору»[4].

Мы уже упоминали о целом поселении металлургов-кустарей – Рудной слободе – возникшей в 1631 году у рудных месторождений по

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 394.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 170-170 об.
[3] Там же.
[4] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 39.

рекам Нейва и Ница, крестьяне которого издавна копали руду и варили железо в небольших домницах. Эта слобода, по свидетельству Г.Ф. Миллера, вплоть до конца XVII столетия являлась едва ли не единственным местным источником, снабжавшим Сибирь железом[1]. Проводившийся по предписанию из Москвы досмотр рудных мест в Верхотурском уезде в конце XVII столетия выявил до сотни «железных мастеров» из верхотурских слобод и деревень. Особо обеспечены крестьянами-металлургами были промышленные поселья Далматовского Успенского и Невьянского Богоявленского монастырей[2]. По выражению Б.Б. Кафенгауза

> «крестьянская металлопромышленность на Урале сыграла свою роль в отношении разведки руд и отчасти передала будущим заводам кадры кузнецов»[3].

Только в XVIII столетии крестьянская рудодобыча постепенно сокращается и вытесняется крупной горнозаводской промышленностью. В 1717 году даже появляется указ сибирского губернатора М.П. Гагарина, запретивший кустарное производство железа, поскольку низкое качество последнего не оправдывало значительные расходы ценного сырья и леса. Крестьянская рудодобыча с этого времени перестает быть самостоятельным видом промысла и становится одной из подсобных работ в заводском производстве[4]. Тем не менее, В.И. Геннин требовал от своих подчиненных, чтобы они «с рудопродавцами, которые будут объявлять и продавать руду», поступали «ласкою, а не грубостию, дабы тем их не отогнать…»[5].

> «Пройдя в XVII столетии равнодушно мимо уральских горных богатств, русская колонизация в XVIII столетии, вместе с началом и лихорадочно-торопливым развитием горной промышленности, повертывает назад – к Уральскому хребту, на восточном склоне которого быстро возникает ряд горных заводов»[6].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. – Т. II. – С. 91.
[2] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 84.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 11.
[5] Там же. С. 14.
[6] Там же. С. 15.

За короткий период времени на средства казны и частных лиц были созданы несколько десятков металлургических заводов. Этому немало способствовали и мероприятия власти. В 1719 году Берг-коллегия разрешала заниматься рудоискательством и строительством заводов всем желающим и в любом месте. Владелец земли, однако, имел преимущественное право на разработку обнаруженных месторождений. Если он по каким-либо причинам не делал этого, любой желающий мог получить разрешение на их эксплуатацию с обязательством выплачивать землевладельцу $^{1}/_{32}$ часть прибыли. Тем не менее, зачастую «рудознатцев ожидало серьезное сопротивление владельцев данных земель, и крестьян, живших на этих землях»[1]. Особенно невыгодным открытие новых рудников было для крестьян, понимавших, что именно им придется работать на новом заводе, отчего их хозяйство непременно пострадает. Жестокие расправы крестьян с рудознатцами вызвало замалчивание открытых рудных месторождений. Уральский крестьянин Иван Рычиков, открывший в 1722 году рудный выход в трех верстах от деревни, скрыл это, так как

> «…если мне место указать, то де почнут медную руду промышлять, а нашей де деревне от того будет утеснение»[2].

Этот факт еще раз подтверждает отсутствие прямой связи между ресурсом и организацией населения. Между ними всегда стояли определенные информационные фильтры.

Занимались рудоискательством и сами заводы, причем это вызывалось вполне объективными обстоятельствами – истощением старых рудников, и повторялось в среднем каждые 10-30 лет[3]. Рудники и прииски обычно располагались вблизи заводов (до 10 верст), но были случаи, когда они находились от заводов на расстоянии свыше 100 верст[4]. Зависимость локализации рудных разработок не от реального географического пространства, а от достаточно поверхностно связанного с ним пространства информационного, говорят многочисленные факты, когда богатейшие месторождения лежали длительное время без разработки просто потому, что не были «увиде-

---

[1] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 154.
[2] Там же.
[3] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 34.
[4] Там же. С. 36, 41.

ны»[1]. Достаточно слабая корреляция между ресурсами реального географического пространства и степенью значимости их в структуре социума показана А.В. Дуловым и по отношению к промышленности в целом.

> «Размеры и степень развития той или иной отрасли промышленности, – пишет он, – определялись в основном социальными причинами. Здесь наблюдались даже случаи, когда производство развивалось слабо при благоприятных природных ресурсах или наоборот – расцветало при незначительных ресурсах»[2].

С началом массового заводского строительства на Урале и, собственно, с появлением последнего как протяженного и информационно-наполненного образования, начинается длительный процесс вовлечения в структуру его функционирования соседних территорий Зауралья и Приуралья. Уже к середине XVIII столетия значительная часть Зауралья (в рассматриваемых нами рамках) была функционально «завязана» на уральский горнопромышленный район, отдаленные следствия чего наблюдаются и поныне.

*2002*

## 4.3. АГРАРНОЕ ОСВОЕНИЕ

В исследуемый период времени земледелие являлось базовым и во многом атрибутивным типом хозяйственного освоения для русского населения. Однако освоение Зауралья на начальном этапе было представлено почти исключительно другими типами – административным и промысловым. Это определило первоначальный состав русского колониального населения Сибири (по преимуществу военно-служилое и торгово-промышленное), а следовательно, второстепенный и подчиненный характер земледельческого освоения. Последнее обстоятельство определялось главным образом различиями в информационном пространстве, создаваемом носителями этих типов освоения. Естественно, что набор информации, детерминирующей организацию военно-служилого или промышленного населения, отличается от информации, необходимой для организации населения земледельческого. В результате, последнее оказывалось в районах либо совершенно не пригодных для земледельческого освоения, ли-

---

[1] См.: **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 99.
[2] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 101.

бо придающих этому освоению крайне рискованный и несамодостаточный характер. В ряде случаев крестьянское земледельческое население полностью теряло свою функциональную специфику и было вынуждено заниматься совершенно несвойственными ему видами деятельности. Так, например, в Березове

> «…хотя ж государственныя крестьяне жительство и имеют в городе… по случаю холоднаго климата хлебопашества не имеют, а довольствуютца пропитанием от работ: подати платят против протчих государственных крестьян деньгами»[1].

В Сургуте

> «крестьяне ж здешния хлебопашества не имеют, а состоят на казенном оброке; промысел же их в том только и состоит, что в летнее время на мимо плывущих дощениках нанимаются в работу, а в протчее время промышляют для пропитания своего рыбу, частию ж осенью промышляют в неотдаленных от города местах зверей…»[2].

Вместе с тем, очевидно, что устойчивую структуру постоянного русского населения могли создать в тех условиях только такие типы хозяйственного освоения, которые бы мало зависели от конъюнктурных обстоятельств и в то же время стабильно обеспечивали бы колониальное население жизненно необходимыми ресурсами. В тех средовых и исторических условиях только земледелие могло создать базу для превращения территории Зауралья в зону полномасштабной колонизационной деятельности. Как писал А.П. Щапов:

> «…без хлеба, даже в хороших местностях, представлявших другие источники жизненных средств, поселения не могли прочно существовать и развиваться, а расходились врознь и разрушались»[3].

П.М. Головачев писал:

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 341, оп. 1, д. 349, л. 84.
[2] Там же. Л. 85.
[3] **Щапов А.П.** Историко-географическое распределение русского народонаселения: Сочинения. – СПб., 1906. – Т. 2. – С. 199.

«Без колонизации земледельческой, усеявшей край деревнями, занятие Сибири одними военно-служилыми людьми и одними мехопромышленниками не имело бы поддержки… Заселение Сибири явилось результатом совместного действия двух сил – государственной и вольно-народной, действовавших параллельно, опиравшихся одна на другую, хотя часто и бессознательно»[1].

Это и подобное ему соображения породили в историографии истории Сибири весьма оживленную и не прекращающуюся до сих пор полемику относительно приоритета государственного или вольнонародного факторов в сибирской колонизации. Рассматривая проблему сохранения целостности колонизирующего общества[2], мы пришли к выводу о некорректности положений, поставленных в основание этой полемики. Вообще создается впечатление, что речь в ней идет не о воссоздании социальной целостности на осваиваемой территории, а о некоем виде соревнования: кто из субъектов колонизационной деятельности успеет первым заселить и освоить некоторую территорию. Вопрос же о том, способны ли эти субъекты по отдельности быть показателем «полноценной» целостности колонии и метрополии почему-то даже не ставится.

Целостность как категория интегральная может быть определена по двум формальным критериям: интегрально-структурному и интегрально-однородному. Первый, применительно к нашей проблеме, вычленяет макроструктуры, интегрально связывающие социум в единое целое (государственно-административная, военно-административная, экономическая, социально-стратификационная структуры, инфраструктура или др.); второй выделяет такую целостность по признаку ее интегральной однородности (этнокультурной, социальной, хозяйственной, религиозной или др.). Причем, только интегрально-структурные или только интегрально-однородные критерии не способны быть показателем реальной целостности. По отдельности они всего лишь обеспечивают формальную возможность ее создания, которая становится актуальной только при их ареальном совпадении.

---

[1] **Головачев П.М.** Указ. соч. С. 25.

[2] **Пестерев В.В.** Общество колонизирующее: экспансия, диссипация и репродукция целостности // Россия в новое время: единство и многообразие в историческом развитии: Материалы Российской межвузовской научной конференции. – М.: РГГУ, 2000. – С. 28-31.

Предложенная нами процедура определения системной целостности метрополии и колонии по двум критериям – интегрально-структурному и интегрально-однородному – была уже ранее очень образно описана П.М. Головачевым:

> «Государство намечает остроги, проводит линии, пролагает тракты и создает, таким образом план и межи, ставит вехи и колья для колонизации. Вольно-народная колонизация… осуществляет план, заполняет все промежутки и сетку колонизации живым материалом»[1].

Хотелось бы заметить, что данная картина очень точно отражает специфику процессов заселения-расселения в процессе колонизации.

Можно вычленить два основных типа «заполнения» геопространства социальным субстратом: *заселение* и *расселение* (в известном смысле их можно связать со структурным и однородным показателями в воссоздании социальной целостности). *Заселение* характеризуется наличием немногочисленных, сравнительно многонаселенных и часто далеко отстоящих друг от друга поселенческих анклавов. Его появление, как правило, связано с необходимостью исполнения определенных ролевых функций, либо с локальностью объекта освоения. *Расселению* же свойственны (в идеале) массовость, однородность и относительно небольшая населенность поселений, а также хаотичность (равномерность) и плотность распределения их в геопространстве. Расселение появляется при общераспространенности ресурса и стремлении к минимизации издержек, связанных с его присвоением. Подобная интерпретация терминов «заселение» и «расселение» находит свое подтверждение и в результате их семантического анализа. *За-селение* однозначно соотносится с процессами переноса населения *за* пределы чего-либо и/или *за*-полнения какой-то ограниченной территории. Семантика термина сущностно связана, таким образом, с векторностью (однонаправленностью) и выраженной ареальностью. *Рас-селение*, напротив, свидетельствует о процессах *рас*-пределения, *рас*-сеивания и связано с рассредоточением населения из некоего центра (центров) по расходящимся концентрическим кругам при отсутствии, однако, четких границ.

Если заселение является пространственным выражением административного и торгово-промышленного освоения, то расселение

---

[1] **Головачев П.М.** Указ. соч. С. 25.

есть атрибутивный признак освоения земледельческого. Этот вывод позволяет не только определять вид и степень освоенности той или иной территории по способу ее заполнения населением, но и оценивать меру самостоятельности того или иного типа освоения. Применение этого метода по отношению к зауральской территории приводит к выводу о вторичности (в хронологическом смысле) земледельческого освоения как фактора организации населения, либо о его серьезной зависимости от административного освоения. Последнее было характерно для южной части Зауралья, где под воздействием административных интересов начальное земледельческое освоение происходило в форме заселения, а не расселения, и крупные земледельческие поселения (слободы и остроги) возникали не в результате естественной иерархизации мелких населенных пунктов, но, напротив, служили основой возникновения последних.

Процесс заселения (создание системообразующей структуры населения) Зауралья уже в первые десятилетия его колонизации в основе своей был почти завершен. Немногочисленные «колья» колонизации были расставлены относительно равномерно почти по всей зауральской территории (за исключением южной ее части), подготовив основу для русского расселения. За полтора десятка лет были поставлены: в центре – города Тюмень и Тобольск, на западе – Верхотурье, на востоке – Сургут, на северо-западе – Пелым, на севере – Березов и Обдорск.

Заселение в Сибири, вызванное по преимуществу административными соображениями, жалось к пойменным территориям крупных речных артерий. Традиционные объяснения этого факта, основанные на транспортном, военном значениях крупных рек и аграрном значении их пойм, кажутся на первый взгляд вполне исчерпывающими. Однако заселение южной части Зауралья во второй половине XVII столетия дает повод сомневаться в полноте этих объяснений.

Заселение южного Зауралья, также как и заселение его таежной части, было привязано к поймам крупных речных артерий, в данном случае – к поймам Тобола, Исети и Миасса. Однако транспортное значение их никогда не было определяющим для инфраструктуры региона. Во-первых, основные транспортные потоки из метрополии в колонию и обратно проходили севернее и не захватывали южного Зауралья, поэтому необходимости создавать транзитные базы на водных коммуникациях здесь не возникало; во-вторых, основным содержанием грузопотока отсюда была сельскохозяйственная продукция, главным образом мука и зерно. Однако этот продукт **в любом случае** приходилось доставлять с мест его присвоения гужевым

или водным (по мелким притокам) транспортом к пункту отправления на главной речной артерии. Поэтому необходимость привязки населения к поймам крупных рек в этом случае по меньшей мере неочевидна. Военное значение этих рек также вызывает некоторое сомнение. Во-первых, речная артерия может рассматриваться как надежный оборонительный рубеж лишь в случае достаточно плотного и равномерного ее заселения и/или при условии контроля за основными переправами через нее. Неравномерная и относительно небольшая населенность Приисетья и Среднего Притоболья второй половины XVII века, а также неполная закрытость их со стороны степи, не создавали особых препятствий кочевым набегам на эти территории. Во-вторых, считается, что только реки с их крутыми берегами и мысами при слиянии двух рек могут предоставить удобные в плане обороны варианты локализации поселений. Однако относительно пересеченный характер ландшафта этого региона позволял находить «крепкие» места для основания поселений и за пределами пойм речных артерий, например, у лесов (как то практиковалось в лесостепной части Европейской России[1]), болот, озер, логов и мелких речушек. Наконец, достаточно равномерное распределение благоприятных для земледелия и скотоводства почвенных и гидроресурсов, а также относительно большой массив необлесенных пространств, делали привязку населения юга Зауралья (по преимуществу крестьянского) к речным долинам необязательной. Таким образом, существующие объяснения феномена пойменного заселения явно недостаточны.

Пойменное (долинное) заселение, согласно В.П. Семенову-Тян-Шанскому, характерно для двух ландшафтно-климатических зон европейской части России: северной (промыслово-земледельческой) и южной (земледельческой)[2]. В обоих случаях концентрация населения в речных долинах была обусловлена сосредоточением в пойменных пространствах этих зон большей части доступных для присвоения или производства ресурсов жизнеобеспечения. Южную часть Зауралья нельзя отнести по географическим параметрам ни к одной из этих двух зон. Косвенно это доказывается тем, что крестьянское расселение, начавшее активно осуществляться здесь с конца XVII столетия, все больше проникает на водоразделы, относительно равномерно заполняя уже к концу следующего века всю территорию южного

---

[1] **Водарский Я.Е.** Заселение юга России в конце XVII – начале XVIII вв. // История географии и историческая география. – М., 1975. – С. 21-24.

[2] **Семенов-Тян-Шанский В.П.** Город и деревня в Европейской России. – СПб., 1910. – С. 13.

Зауралья (имеется в виду распределение поселений, а не населения).

Феномен пойменного заселения южной части Зауралья, наблюдавшийся во второй половине XVII столетия, объясняется нами своеобразной инерцией опыта. Многовековые традиции заселения Русского Севера и таежного Зауралья, сформировавшие стереотип о предпочтительности эксплуатации именно пойменных земель, стали органичной частью структурной информации колонизирующего общества. Этот стереотип не вступал в острое противоречие с новыми условиями, что позволило ему просуществовать вплоть до конца XVII столетия.

Расселение («заполнение» структуры, намеченной заселением) на территории Зауралья носило почти исключительно земледельческий характер, поскольку занятие земледелием в значительно большей степени, нежели занятие промыслами, определяло привязанность места жительства к месту присвоения ресурса. Крестьянскому расселению немало способствовало и то обстоятельство, что, как подметил П.Н. Буцинский, ближайшие к городу земли отходили, как правило, ямщикам, посадским и служилым людям[1]. В большинстве случаев они не имели возможности обрабатывать землю, расположенную далеко от города, и при этом исполнять свои функциональные обязанности. В то же время и исполнение последних пока не избавляло некрестьянское население от необходимости занятия земледелием. Вследствие этого, крестьяне вынуждены были подыскивать удобные пашенные места вдали от городов и использовать их либо в качестве «отъезжих пашен», либо в качестве нового поселения – деревни или заимки. Так, по свидетельству П.Н. Буцинского, почти каждое семейство верхотурских крестьян имело свою деревню[2]. В несколько меньших масштабах подобное явление характерно почти для всех зауральских городов (за исключением северных).

Расселение в Зауралье представляло собой весьма пеструю картину, как в способах приобретения земли, так и в формах ее заселения. Можно выделить несколько способов земельных приобретений, основными из которых были отвод, приискание, захват.

Относительно часто встречающимся типом крестьянских челобитных были прошения об отдаче им приисканных ими «порозжих» земельных угодий. В 1650 году вышел государев указ, по-видимому

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 28.

[2] Там же. С. 41.

повторяющий аналогичные ему предыдущие постановления, о том, чтобы

> «порозжия пустоши по писцовым книгам давать первым челобитчиком»[1].

Кроме того, имевшая в своих наказах постоянным требованием увеличение запашки, воеводская администрация обычно не имела серьезных оснований в отказе подобным прошениям. Единственным непременным условием их удовлетворения было наличие свидетельств о незанятости земель, на получение которых претендовал проситель. Естественно, что наилучшие возможности в самостоятельном приискании земель были в первые годы освоения той или иной территории. Так, С. Молчанов, приказчик Ницинской слободы, в начальный период ее устройства наделял крестьян землей под собинные пашни «где кто похотел иным подле твою государеву пашню смежно, а иным дале»[2]. То же самое мы видим и при поселении крестьян в вотчине Тобольского Знаменского монастыря, которые «на Бегишевых горах в разных местах дворами селились и пашнями врознь же»[3]. В этот период и размеры крестьянских наделов не подвергались ограничению. К середине XVII столетия в Сибирском приказе утверждали, что в Сибири всякие люди, в том числе и пашенные крестьяне, владеют землею

> «не по четвертям, а сколько хто сперва русские люди в которых местах земли займовали, много ль хто иль мало тот тем, хто жив, и по ся место владеет»[4].

О том же в своей челобитной в 1625 году заявляли и жители Верхотурья:

> «…а у иных де у служилых и у посадских людей и у пашенных крестьян и у ямских охотников пашенных земель и сенных покосов занято много, не одны заимки, а займовали де те лишние земли те люди в те поры, как было

---

[1] ПСЗ РИ, т. I. С. 226.
[2] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 79.
[3] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 23.
[4] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 79.

на Верхотурье людей мало, а земель было порозжих впусте много»[1].

Недостаток ближних к городам незанятых земель вызывал увеличение расстояний поиска удобных для занятия земель. По свидетельству П.Н. Буцинского, жители Верхотурья – крестьяне, посадские и служилые – при этом

«мало стеснялись разстоянием и захватывали земли под пашню за 50, за 100 и более верст от Верхотурья»[2].

Так, например, в 1612 году бил челом в Москву

«Верхотурского города ямщик Сидорко Терентьев сын Чапурин и во всех ямщиков и пашенных и торговых людей место, чтоб их пожаловали на Верхотурье на Тагиле реке, на устье Мулгае, вверх по Мулгае и вниз по Тагиле по обе стороны пашенным местом, где пригодится; а под городом де им пахать негде, а то де урочище от города верст с 50»[3].

Приисканные подобным образом земли легализовались и

«укреплялись за владельцами подписными челобитными, отводными данными и, позднее, занесением в переписные книги»[4].

Как совершенно справедливо отмечал В.И. Шунков,

«право старины, перенесенное за Урал московскими людьми вместе с их земельными представлениями, приобретало здесь еще и добавочное значение права первого занятия данного участка»[5].

Вместе с тем, данное право служило удобным предлогом для оправдания владения землей без отвода, иногда просто захваченной. Так, в 1646 году было отведено место на реке Туре под новую Турин-

---

[1] Там же.
[2] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 28-29.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 264.
[4] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 80.
[5] Там же. С. 86.

скую слободу. Однако вскоре выяснилось, что ту землю пашут, «самоволством отъехав от Туринского острогу, ямские охотники». На требование убраться со слободской земли

> «сказывают, что пашут они прежде Туринские слободы…»[1].

Иногда владение землей по праву старины и без всяких крепостей давало надежду такому «владельцу» на благоприятный исход дела, даже если у противоположной стороны были все необходимые документы, доказывающие владельческие права на спорную землю. Так, в 1666 году в вотчине Тобольского Знаменского монастыря под Бегишевыми горами поселились государевы оброчные крестьяне – Никитка Долговой с братьями (всего 7 человек). Монастырь настаивал на выдворении их с территории вотчины. Однако в результате административного вмешательства они не только не были выселены с захваченных земель, но взамен занятой ими территории монастырю самому пришлось подыскивать себе такое же количество порожних земель. Примерно в это же время и на тех же землях без всяких крепостей, а лишь по праву давности, владел монастырской землей и оброчный крестьянин Левка Шадрин с братьями. И в этом случае взамен захваченной земли монастырь получил такое же количество земель, лежавших «впусте»[2]. Интересы государева фиска стояли выше формальных прав владения тех или иных субъектов.

Местное население, как правило, использовало в качестве основного (если не единственного) источника ресурсов жизнеобеспечения промысловое освоение (исключением является хозяйство жителей крайних севера и юга Зауралья, основанное на скотоводстве). Отсутствие жесткой привязанности местного населения к местам локализации жизненно важных для русских колонистов ресурсов (в основном к годным для земледелия и скотоводства пойменным территориям) позволяло ему не вступать в острую конфронтацию с пришельцами, поскольку уход с этих территорий не означал для местного населения потерю кормящего ресурса. Более того, часто само начало организации колониальной поселенческой структуры «очищало» пригодные к хозяйственному освоению территории без непосредственного контакта колонистов с местным населением. В челобитной табаринских татар 1598-го года читаем:

---

[1] ДАИ, т. III. С. 76-77.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 70, д. 37, л. 6-6 об.

> «А которые, государь, юртовские татарове и вагуличи жили по дорогам, и они, государь, от подвод разбегаяся, живут по лесам в незнаемых местах»[1].

К концу XVI века по дороге из Тобольска в Пелым из 60-ти человек местных жителей – татар и вогул – осталось лишь 9 человек[2]. Поскольку в то время основными транспортными артериями являлись реки, именно приречные земли испытывали заметный отток инородческого населения вглубь водоразделов или на реки, находившиеся в стороне от основных дорог. Если же учесть, что приречные пойменные территории являлись и основным объектом хозяйственного использования колонистов, уход с этих земель местного населения объективно облегчал их освоение.

Вместе с тем, при освоении ряда территорий все-таки возникали конфликты русских колонистов и местных жителей по поводу пашенной земли. Об одном из таких случаев при заселении земель по реке Нице во второй четверти XVII века упоминает П.Н. Буцинский:

> «Здесь уже существовало земледелие, которым занимались туринские татары, а потому при заселении этой реки возникали постоянныя распри между русскими и инородцами»[3].

Но, видимо, не следует преувеличивать значение пашенных угодий для занимавшихся земледелием местных инородцев. Анализ документов, имеющих к этому отношение, позволяет говорить о второстепенности земледелия в системе ресурсного жизнеобеспечения местного населения. Так, например, Пелымского уезда табаринские пашенные татары (хотя в этническом плане их следовало бы называть вогулами) в 1607 году били челом государю о переводе их с пашни на уплату ясака пушниной, как то было до постройки Пелымского города[4]. В повторной челобитной 1618 года они указали, что пахали пашню на себя «до Пелымского города лет за 40 и за 50», а с постройкой Пелыма воевода Петр Горчаков

> «заставил нас сирот твоих в Таборех на тебя государя твою государеву пашню пахать, и поимал у нас сирот

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 178-179.
[2] Там же.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 46.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 241.

> твоих наши особинные пашнишки в твою государеву пашню»[1].

В данном случае колониальная администрация в лице П. Горчакова действовала вполне предсказуемо: на основании превратно понятой «идентичности» занятий местного населения с традиционным способом хозяйствования колонистов она попыталась использовать это в деле государственного освоения. Однако дальнейшее содержание челобитной заставляет думать, что землепашество выступало для этих вогулов в виде второстепенной хозяйственной деятельности, сродни промыслам. Как они указывают,

> «живем, государь, от твоей государевы пашни от Таборов в разных местах на озеры, езду от Таборов днища по полутора и по два днища, и кормимся с женишками и с детишками рыбенком, и к твоей государеве пашне в Таборы нас сирот твоих из наших юртишков высылают приставы… и мы, государь, сироты твои кормимся с женишками и с детишками во все лето травою… а рыбенка, государь, добыть нам сиротам твоим, чем сытым, в те поры добыть не успеем, в которую пору твою государеву пашню пашем и твой государев хлеб жнем и молотим»[2].

Скотоводство (впрочем, как и животноводство в целом) как тип хозяйственного освоения сыграло очень незначительную роль в качестве фактора пространственной организации населения Зауралья в период его колонизации. Связано это было, по-видимому, не столько с характером географических условий, широкая благоприятность которых для скотоводства стала сколько-нибудь ощутимой лишь к концу исследуемого периода, сколько с наличием уже сложившихся традиций русского скотоводства, предъявлявшего сравнительно незначительные требования к характеру природной среды. С.Б. Веселовский отмечал как весьма распространенное для Северо-Восточной Руси явление в период, предшествовавший колонизации Сибири, когда «скот держали на воле, безпастушно», что

> «вызывало необходимость огораживания культивируемых под посевы и покосы земель… мы видим, как повсеместное явление, что по границам деревенского вла-

---

[1] Там же. С. 287.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 287.

дения, а местами и внутри него на границах пахотных полей и пожен тянется “огорода”, которую в лесу заменяет “осек” – заграждение из поваленных деревьев или из жердей, прикрепленных к деревьям»[1].

Подобная практика в Зауралье приняла название «поскотинной». Так, в одной из жалоб указывалось, что крестьяне малоземельной Ирбитской слободы за неимением свободных поскотинных угодий отгородили себе «неведомо по какому заводу» земли киргинских крестьян, да еще и «их же киргинских крестьян жердьем»[2]. Единственным серьезным влиянием, оказываемым скотоводством на процесс расселения, было наличие сенных покосов в качестве одного из необходимых условий при заселении той или иной территории. Но и здесь, по всей видимости, данное требование входило в традиционное представление о поселении как, прежде всего, комплексе угодий. Вообще русское скотоводство являлось в большой степени видом хозяйствования, дополняющим земледелие, и сравнительно редко играло самостоятельную роль. В этом смысле показательна процедура наделения землей, которая, начиная от челобитных и заканчивая отводными грамотами, в подавляющем большинстве случаев сопряжена с использованием устойчивых словосочетаний, основным из которых, несомненно, является связка «пашенная земля и сенные покосы». Совпадение северных границ скотоводства (разведения рогатого скота и лошадей) с границами распространения земледелия отмечал А.В. Дулов[3].

*2002*

---

[1] **Веселовский С.Б.** Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV–XVI вв. – М.; Л.: ОГИЗ, 1936. – С. 33.
[2] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 87.
[3] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 70.

# 5. ФОРМЫ КОМПАКТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ)

## 5.1. КОЛОНИЗАЦИЯ И ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА

Наиболее простым и часто используемым способом квалификации отдельного населенного пункта как элемента некоторой поселенческой структуры является определение его номенклатурного типа. Каждая поселенческая структура обладает своим набором обозначений (номенклатурой) типов населенных пунктов, показывающим их функциональную и/или статусную дифференциацию. Таким образом, уже определение типовой принадлежности того или иного поселения дает нам самую общую информацию о его месте и роли в конкретном поселенческом комплексе. Эта же практика позволяет рассматривать поселения, входящие в одну поселенческую структуру и принадлежащие к одному номенклатурному типу, как морфологически тождественные.

Тезис о переносе структурной информации из метрополии в колонию в процессе колонизации должен, как кажется, подтверждаться сущностным единством их поселенческих структур. И действительно, поверхностный взгляд не находит сколько-нибудь значительных отличий между наборами форм компактного размещения населения (поселенческой номенклатурой) в метрополии и колонии. В нашем случае, в Зауралье, как и «на Руси», мы сталкиваемся со все теми же городами, деревнями, острогами, слободами, монастырями… Изоморфизм колониальных поселений однотипным поселениям метрополии кажется наглядным и вполне естественным.

Вместе с тем, как уже отмечалось, начальный период освоения новой территории характеризуется наличием особых информационных фильтров у колонизующего социума и, следовательно, упрощением и узкофункциональностью его колониальных структур. Не является исключением и возникающая в колонии поселенческая структура. В этой связи колониальные поселения просто не могут являться (по крайней мере, на первых этапах колонизации) полными аналогами своих номенклатурных одноименцев из метрополии. Игнорирование этого факта таит в себе опасность такого рода, что мы начинаем оперировать вербальными знаками, не имея адекватного представления о сущности, скрывающейся за ними.

Наиболее серьезное влияние на первые проявления социальной структуры в колонии оказывают фильтры цели. Для поселений и их комплексов можно выделить две группы целей, связанных с вы-

полнением двух основных функций: функции жизнеобеспечения (ресурсной) и ролевой функции (статусной). Иначе говоря, само существование поселения становится возможным в той мере, в которой оно (поселение) *целесообразно*, т.е. может обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами или/и способно играть в структуре социума роль, достаточную для оправдания его (поселения) существования. Первые десятилетия русской колонизации Сибири, которую для этого периода можно назвать «городской», очень хорошо показывают роль этих двух функций в специфике колониальных проявлений Русского государства. В этой связи необходимо проанализировать особенности первого этапа существования сибирских городов, когда их отличие от городов метрополии должно было быть выражено в максимальной степени.

Появление городов в Сибири в качестве основы организации колониальной поселенческой структуры было обусловлено: во-первых, наличной (и не совсем адекватной) информацией, имеющейся в Русском государстве относительно ситуации в Зауралье; во-вторых, особой ролью в структуре социума, возложенной на города в соответствии с указанной информацией. Для представления о Зауралье на Руси конца XVI века было характерно завышение уровня враждебности и, следовательно, военной опасности со стороны местного населения. В соответствии с этим, русское присутствие в Зауралье мыслилось лишь в форме относительно крупных укрепленных населенных пунктов. Необходимость осуществления административно-фискальных (по отношению к ясачным инородцам и русским промысловикам и торговцам), а также военно-административных (по отношению к колониальному военно-служилому контингенту) функций окончательно предопределила появление именно *города* как основной формы русского присутствия в Сибири.

Несмотря на обилие наименований «городков» в текстах сибирских летописей,

> «городов и тем более развитой городской жизни в Сибири во второй половине XVI века, до походов дружины Ермака, еще не было»[1].

Более того,

---

[1] **Сергеев В.И.** Основание городов Западной Сибири (до середины XVII века) / Автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1962. – С. 1.

> «нет оснований и “городки” торговых людей, которые упоминаются в ранних документальных материалах, считать начальными сибирскими городами»[1].

Таким образом, отсутствие в Сибири развитой городской культуры практически предопределило появление сети русских городов в максимально независимой от местных культурных влияний форме[2].

Вообще под «городом» на Руси традиционно понималось огражденное место, выступавшее в качестве военного убежища для окрестных жителей. В этом плане очень интересными представляются попытки рассмотрения города исходя из окружающего его поселенческого контекста, а само его существование как необходимое условие существования окрестных поселений.

Так, Н.Н. Воронин рассматривал «город» как узел открытых (незащищенных) поселений[3]. Сибирский город, согласно документам, действительно выполнял эту изначально присущую ему функцию защиты жителей близлежащих селений. Так, во время калмыцкой опасности в 20-х годах XVII столетия по государеву указу следовало

> «русским людем и татаром из деревень велети съехатца в город, чтоб на них колмацкие люди безвестно не пришли и не повоевали и над городом дурна какова не учинили…»[4].

В ряде случаев позволялось завозить в город скот и сено, если будет «мочно»[5]. Подобные распоряжения давались и позже в периоды усиления военной опасности. Это, с одной стороны, сохраняло окрестное население, а с другой, увеличивало населенность и, следовательно, обороноспособность самого города (если, конечно, речь шла о кратковременных набегах, а не о длительной осаде).

Таким образом, даже рассмотрение города как чисто военного укрепления с необходимостью соотносит его с наличием определенной поселенческой структуры – своей или осваиваемой (инородческой). Н.Н. Воронин писал, что

---

[1] **Сергеев В.И.** Указ. соч. С. 1.

[2] Строительство русских поселений на месте инородческих «городков» и «городищ» вызывалось почти исключительно военно-оборонительными соображениями и не влекло за собой явление «диффузии культур».

[3] **Воронин Н.Н.** К истории сельского поселения феодальной Руси: Погост, свобода, село, деревня // Известия ГАИМК. Вып. 138. – Л.: ОГИЗ, 1935. – С. 18-19.

[4] РГАДА, ф. 199, № 477, ч. 1, д. $1^2$, л. 96.

[5] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 509.

> «борьба, развертывавшаяся вокруг владения “городом”, была фактически борьбой за территорию, центром которой являлся город; владение городом обеспечивало ”подданность” местного населения…»[1].

Именно в этом смысле следует понимать Г.Ф. Миллера, писавшего, что постройка Тобольска послужила

> «началом и основаньем твердого владенья, которым вся земля взята и во всегдашнем подданстве содержана была»[2].

*Город* же как тип населенного пункта в Русском государстве конца XVI столетия имел сложную социальную и планировочную организацию и являлся важнейшим элементом развитой поселенческой структуры, зависел от нее и в определенной степени являлся ее порождением.

Иными словами, необходимым, контекстуальным, условием существования русского города конца XVI столетия являлось наличие достаточно развитой поселенческой структуры. Однако в Сибири конца XVI – начала XVII веков последней не было как таковой. Инородческие поселения не были сколько-нибудь тесно связаны с русскими городами, а русских негородских поселений практически не было. Следовательно, и сибирский город не мог являться вполне «типичным» для Русского государства того времени.

В связи с уже указанными нами выше мотивами городского строительства в Сибири, вопрос о создании здесь сколько-нибудь развитой поселенческой структуры первоначально даже не поднимался. И если в метрополии жизнеобеспечивающая и ролевая функции города были «завязаны» на определенном его положении в поселенческой структуре, то в Сибири само существование города оказалось зависящим от внешних и, по большому счету, конъюнктурных обстоятельств.

В «Кратком описании о начале Сибири вообще», имеющем, по всей видимости, сибирское происхождение и известное уже в XVII веке, говорится, что города

> «застраивать начали вразсуждении как дикие страны изобильны пышными зверьми, и для низложения вовсе

---

[1] **Воронин Н.Н.** Указ. соч. С. 18-19.

[2] **Бахрушин С.В.** Г.Ф. Миллер… С. 58.

Кучумовой фамилии, и збора в казну есака с иноверцов…»[1].

Впоследствии мнения исследователей о причинах появления в Сибири крупных населенных пунктов (как правило, речь идет о городах) мало отличались от этого, высказанного почти сразу после заселения, мнения. Так, М.К. Любавский считал основной целью возникновения в Сибири русских поселений

«держать в подчинении сибирских инородцев и собирать с них дань»[2].

Вообще большинство исследователей сходится во мнении о военном характере первых сибирских городов и о военной функции как основной роли их в структуре социума. Такое мнение вытекало как из военно-оборонительной атрибутики городов, так и из конкретных функций, ими выполняемых. Строительство городов для утверждения покорности населения захваченных или готовящихся к захвату территорий являлось, судя по всему, весьма давней и распространенной практикой московского правительства. Таким образом, создание опорных баз в Сибири являлось продолжением старой тактики утверждения своего влияния на территории интересов московского государства.

По мнению Н.Я. Новомбергского:

«Первые завоеватели Сибири ставят города – *военные* посты»,

и только по мере выдвижения их вглубь сибирской территории

«старые города начинают приобретать *гражданский характер,* хотя при этом нисколько не утрачивают своих казенных черт»[3].

О характере русских городов вплоть до XVIII века как, прежде всего, военных укреплениях говорил и В.П. Семенов-Тян-Шанский[4]. В.И. Сергеев даже ввел особый термин *город-острог*, который в его

---

[1] РГВИА, ф. 416, д. 535, л. 35.

[2] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 227.

[3] **Новомбергский Н.Я.** В поисках за материалами по истории Сибири. – СПб., 1906. – С. 20-21.

[4] **Семенов-Тян-Шанский В.П.** Указ. соч. С. 39-43.

концепции «эволюционирующего города» характеризует первый этап развития сибирского города. В рамках этой концепции следует и современная сибиреведческая урбанистика. На этом фоне становится понятным такое нежелание историков-урбанистов разделять сущностно первые сибирские города и остроги. С.Н. Баландин даже высказал предположение о том, что различие между городом и острогом проистекало исключительно из различий в их оборонной архитектуре. Так, если укрепления поселения состояли из стоячего тына, то мы имеем дело с «острогом». Если количество башен острога превышало четыре, это автоматически переводило его в разряд «города». Причем, «настоящий» город мог иметь и менее четырех башен; «настоящим» его делало наличие рубленых (венчатых) стен[1]. На наш взгляд, указанный автор путает номенклатуру архитектурно-планировочную с номенклатурой поселенческой. Действительно, отдельные их элементы (термины «город», «острог», «слобода») входят в виде вербальных знаков и в тот и в другой номенклатурный набор, однако сущности, стоящие в данном случае за одинаковыми знаками, едва ли можно признать в качестве тождественных.

Проблему неопределенности в употреблении терминов «город» и «острог» попытался решить в одной из своих статей Д.Я. Резун[2]. Он также считает, что в основе разделения этих терминов лежат различия двух типов крепостного укрепления – «городни» и «острожья». Однако в отличие от С.Н. Баландина, Д.Я. Резун видит в этом не столько причину их различия как типов поселений, сколько причину неупорядоченности в определении их точного номенклатурного типа. Функции, а подчас и планировочная структура первых сибирских острогов ставили их в один ряд с городами. Поскольку приказные люди и прочие представители администрации были, по выражению Д.Я. Резуна, «лучше знакомы» с понятием «города», то и остроги они называли городами[3]. Во второй половине XVII столетия и эти формальные отличия окончательно отошли в прошлое.

Вместе с тем, Д.Я. Резун рассматривает лишь «первую волну» городского и острожного строительства в Сибири, хотя выводы из ее анализа распространяет на все XVII-е столетие. Так, например, ставя на одну иерархическую ступень город и острог, он противопоставляет

---

[1] **Баландин С.Н.** Оборонная архитектура Сибири в XVII веке // Города Сибири (экономика, управление и культура городов Сибири в досоветский период). – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 9.

[2] **Резун Д.Я.** Эволюция понятий… С. 172-177.

[3] Там же. С. 173.

их сельским поселениям – слободам и деревням[1]. Тем самым он выпускает из внимания достаточно большой массив «мелких» острогов, начавших строиться одновременно со слободами и принадлежавших к одному с ними иерархическому уровню.

Положение первых сибирских городов было весьма неустойчивым. Конъюнктурность их ролевой функции и ненадежность жизнеобеспечения извне делали дальнейшее существование их крайне проблематичным и рискованным. Жизненно необходимым стало восприниматься наличие стабильных внутренних источников функционирования и саморазвития сибирского города. Поиск этих источников, осуществлявшийся городами Сибири на протяжении всего рассматриваемого периода, нашел свое отражение в историографии проблемы в виде мысли об эволюции городских поселений колонии, постепенно приближающей их к общероссийскому «стандарту».

В.П. Семенов-Тян-Шанский писал:

> «Город устраивается прежде всего как центр военный. Промышленный же характер ему придает сама жизнь»[2].

В.И. Сергеев пришел к выводу, что можно говорить о трех стадиях в начальном развитии сибирских городов: на первом этапе они выступают преимущественно в качестве военно-административных центров правительственной политики (город-острог), на втором их специфику определяют торговые и транзитные функции, и, наконец, на третьем этапе сибирский город становится центром внутренней торговли, определенных промыслов и ремесел, а также хозяйственным рынком своей сельскохозяйственной округи. Однако не все сибирские города прошли эти стадии, особенно это касается северных сибирских городов.

> «В зависимости от экономико-географических условий города-остроги или оставались лишь крепостями – военными опорными пунктами (как Пелым, Сургут), или довольно быстро превращались в центры развитой торговли, оставаясь таковыми на протяжении десятилетий (как Мангазея, отчасти Березов). Только города-остроги удачно расположенные в выгодных экономико-географических условиях в своем развитии поднимались

---

[1] **Резун Д.Я.** Эволюция понятий… С. 173.

[2] **Семенов-Тян-Шанский В.П.** Указ. соч. С. 42.

до уровня ничем принципиально не отличного от состояния центральных городов России того времени»[1].

В рамках этого взгляда следует и современная сибиреведческая урбанистика. Д.Я. Резун пишет:

> «Совершенно ясно, что в момент своего основания и на протяжении всей долгой истории XVII века они все являлись «военно-административными» центрами, но все же военными – во вторую очередь… По-разному складывались и хозяйственные функции сибирских городов. Если земледелие было почти основным хозяйственным занятием сибирских горожан, за исключением поселений в северной части Сибири, то далеко не сразу и не в одно время города стали аграрными центрами своих округов, в достаточной мере снабжающих себя хлебом. Более явственно в хозяйственной жизни сибирских городов проявилась торговая функция, ибо в стране, которая до прихода русских не имела развитых ремесла, промышленности и земледелия, только торговля и обмен могли послужить основным источником удовлетворения хозяйственных потребностей городского населения»[2].

По нашему мнению, известная стадиальность, наблюдавшаяся в развитии сибирских городов, имела в основе своей стремление к самосохранению, к поиску источников ресурсного жизнеобеспечения, либо к поиску новой социальной роли, которая бы оправдывала необходимость их (городов) существования.

Начальный сибирский город и с точки зрения его социально-планировочной структуры вряд ли можно признать морфологически тождественным «типичному» городу метрополии. Последний состоял обычно из двух основных частей: кремля или острога (укрепленной сердцевины города, где жили представители аппарата управления и подавления, а также члены их семей) и посада (обычно укрепленное место жительства посадских, крестьян, а также тех, кому не нашлось места в остроге). Данная планировочная структура была во многом отражением социально-стратификационной структуры и функционально вполне оправдывалась.

---

[1] **Сергеев В.И.** Указ. соч. С. 9.
[2] Первое столетие… С. 16-17.

Вместе с тем, городское строительство в Сибири, показывающее воссоздание этой идеальной планировочной структуры, не всегда было способно к воссозданию той социальной организации, которая обусловила подобную планировочную структуру. Так, хотя Д.Я. Резун отмечал, что первые русские поселения в Сибири

> «ставились как “города”, что подразумевало по тем временам устройство не только бревенчатых рубленых стен, но и организацию “посада” за пределами этих крепостных стен»[1],

наличие посада отнюдь не означало существования собственно городского, посадского населения. В 1636 году по досмотру воеводы Афанасия Толочанова выяснилось плачевное состояние городового и острожного строения в городе Березове. В качестве причины этого было указано следующее:

> «А зделати де нового города березовскими служилыми людми некем, потому что березовские служилые люди живут на твоих государевых службах ежегод в розсылках... А жилетцких де и гулящих людей на Березове нет»[2].

Существовали «без какого-либо развития посада и вообще городской жизни» и такие города-остроги, как Сургут и Обдорск[3]. Здесь в качестве городского посадского населения выступают почти исключительно служилые люди, да и те, будучи в постоянных рассылках, вряд ли могут считаться постоянным населением города.

Некоторые города, являвшиеся поставщиками служилых людей, иногда испытывали значительную убыль населения в связи с исполнением этой обязанности. Особенно это касается городов севера Зауралья, не имевших совсем или имевших в очень небольшом количестве собственно городского посадского населения. Так,

> «березовские служилые люди живут на твоих государевых службах ежегод в розсылках, а за службами летом

---

[1] Первое столетие… С. 18.
[2] Там же. С. 73.
[3] **Сергеев В.И.** Указ. соч. С. 11.

оставаетца на Березове служилых людей человек по тритцати и менши…»[1].

Осенью 1604 года из Верхотурья отписывали, что их 46 человек стрельцов

«оставается от посылок в городе и в остроге человек по 10 и по 15 и иногда оставается человеков с 5 или 6»[2].

Такой же недостаток испытывали и города в начальный период своего основания. Так, в 1595 году, в связи с временной отправкой 40 казаков в Тару, оказалось

«на Тюмени людей мало, посылать в проезжие станицы и в отъезжие караулы неково»[3].

В 1600 году в Москву отписывали, что

«на Верхотурье наших служилых людей стрельцов только 46 человек, и тех стрельцов по нашему указу послано в новой острог в Япанчин 10 человек, а иные стрельцы живут в посылках для наших дел безпрестанно, и в городе оставается стрельцов только 10 человек, и те стрельцы стоят на стороже безпрестанно день и ночь, а пашенных людей на Верхотурье только 18 человек, да торговых 10 человек»[4].

Построенный на половине дороги между Верхотурьем и Тюменью ямской городок (Епанчин, или Туринск) выполнял еще и военно-стратегическую роль – прикрывал среднее течение реки Туры и живших там ясачных инородцев от набегов ногайцев[5]. Однако испытывавший большие проблемы со служилыми людьми, вряд ли исполнял эту роль хорошо. Известно, что вплоть до перевода 30-ти стрельцов из Пелыма в 1615 году, обязанности служилых выполняли пашенные крестьяне. В государевом указе туринскому воеводе П. Желябужскому о переводе в Туринск новоприборных стрельцов говорится:

---

[1] Первое столетие… С. 73.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 216.
[3] Там же. Т. I. С. 361.
[4] Там же. Т. II. С. 191.
[5] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 62-63.

> «А пашенным бы еси крестьянам вперед караулов караулить на остроге и в проезжие станицы и на отъезжие караулы посылати не велел, чтоб пашенным крестьянам в том нужи никоторые не было»[1].

Еще ранее того туринскому голове Федору Фофанову, которому велено было

> «в новом остроге жити с великим береженьем и про нагайских людей и про зырянцов проведывать, чтоб, пришед безвестно, над острогом никоторово дурна не зделали»,

не имея служилых татар, посылать для вестей было некого. Поэтому он

> «для вестей в проезд на поле за реку на Ницу через Уфинскую дорогу посылал про нагайских людей и про зырянцев проведывать ясачных остяков, резвых людей, человек по 5 и по 6, которые живут около острогу во днище и больше»[2].

Однако и в 1641 году мы видим, что из-за посылки служилых в Тобольск по весне с хлебными запасами,

> «в Туринском стоят на карауле посадцкие люди, и пашенные крестьяне, и ямские охотники»[3].

Города, по сути, оказались основой возникновения других населенных пунктов Сибири. Появление последних диктовалось либо необходимостью ресурсного обеспечения первых, либо необходимостью создания вспомогательных населенных пунктов, призванных помочь городам в исполнении их ролевой функции. Таким образом, города сами воссоздавали тот контекст (развитую поселенческую структуру), который оправдывал бы их дальнейшее существование.

Важная роль, отводимая первым сибирским городам в деле закрепления зауральской территории за Русским государством, позволяла им в течение длительного времени получать все необходимые

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 269.
[2] Там же. Т. I. С. 384.
[3] Там же. Т. II. С. 562.

ресурсы жизнеобеспечения из метрополии. Однако нерентабельность, а главное, ненадежность получения ресурсов извне часто ставили поселения Сибири на грань полного упадка и даже исчезновения. Поэтому гарантом существования русского присутствия в Зауралье стала восприниматься не военная сила против во многом мифической угрозы, а способность колонии к ресурсному самообеспечению перед лицом уже реальной угрозы голода. Жители городов начинают создавать деревни и заимки в окрестностях. Именно в этом смысле можно говорить о первых деревнях и заимках как продолжении города. В данном случае только указание типа населенного пункта дает нам уверенность, что мы имеем дело именно с поселением, а не с хозяйствующим индивидом, который также является субъектом административно-хозяйственных отношений. Несмотря на кажущуюся очевидность их статусного различия, найти критериальную специфику каждого из них весьма не просто (большинство первых поселений такого рода были однодворными и нередко не имели постоянного населения).

Характерное для Русского Севера – места выхода первых волн колонистов в Сибирь – так называемое «починочное» расселение, являвшееся редким уже на Урале[1], в Сибири встречается крайне редко (имеется в виду *починок* как представитель поселенческой номенклатуры). Практически полное отсутствие «починка» в Сибири, но появление здесь «заимки», почти не известной на Русском Севере, способствовало широкому распространению мнения об аналогичности данных типов населенных пунктов (например, А.П. Щапов не видел различий между займищным и починочным типами заселения и почему-то связывал их возникновение с обилием лесов[2]). Вместе с тем, различия между ними, пока скорее интуитивные, чем осознанные, все же требуют своего анализа.

На наш взгляд, появление феномена «починочного расселения» на европейском Севере было вызвано низким качеством земли и, как следствие, отсутствием тенденций к захвату и удержанию за собой земельных угодий. Данный тип заселения очень характерен для перелога. Причем, земли выпахивались очень быстро и время их восстановления также не способствовало возникновению желания удержать их в своем владении до начала нового их репродуктивного состояния. Все это вызывало бесконечную череду «починаний» нового земельного хозяйства и жилых построек. В противоположность

---

[1] **Александров В.А. и др.** На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII – XX вв. – М.: Наука, 1989. – С. 40.
[2] **Щапов А.П.** Указ. соч. С. 237.

этому, типичная для Сибири заимочная практика была вызвана ярко выраженными захватными тенденциями и была, по-видимому, связана не столько с перелогом, и даже не столько с пашенной землей вообще, сколько со стремлением захватить комплекс угодий. В связи с этим, заимка в значительно большей степени нежели починок подразумевала под собой не тип поселения, а тем или иным образом освоенный участок территории, как правило, с максимальной концентрацией разнообразных ресурсов (так, иногда *заимкой* или *займищем* назывался участок земли без крестьянского двора[1]). Таким образом, северно-русский починок был, скорее всего, изначально связан именно с поселением, в то время как сибирский починок[2], судя по всему, не был сущностно связан с европейским и именовался так по признаку его начальности как поселения.

Здесь важно учесть, что в то время термины, воспринимаемые сегодня почти исключительно как обозначение типа населенного пункта, имели несколько бóльшую нагрузку – обозначали не только само поселение, но и функционально связанную с ним территорию. То, что мы видим в Сибири в отношении *заимки*, происходило несколько ранее по отношению к *деревне.* Еще С.Б. Веселовский отмечал, что в XV–XVI столетиях в северо-восточной части европейской Руси

> «слово “деревня” означало не самое селение, не постройки, а участок земли, и не просто участок, а комплекс угодий: пашенной земли, покосов, леса и т.п., составлявших в целом деревенское хозяйство»[3].

То, что и под сибирской деревней изначально понимали именно комплекс угодий, а не само поселение видно из челобитья 1672 года трех беломестных казаков Ирбитской слободы о переводе их в Белослудскую слободу. Свою просьбу они аргументировали тем, что

---

[1] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 90.

[2] Данное номенклатурное определение все же изредка встречалось в Зауралье. Например, к концу первой четверти XVII века в верхотурской Подгородной волости было 44 деревни, 2 починка и 6 пустошей. Подавляющее большинство этих населенных пунктов состояло из одного-двух дворов (**Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 30).

[3] **Веселовский С.Б.** Указ. соч. С. 12.

«деревнишек нам нихде не отведено и порозжих земель в Ирбицкой слободе нет и жить нам в Ирбицкой слободе не у чево»[1].

В связи с этим различия между деревней и заимкой следует искать не в их атрибутах как населенных пунктов, а в чем-то ином. Возможно, основным различием их было то, что заимка в отличие от деревни, как правило, не являлась местом постоянного жительства, а носила либо сезонный, либо недолговременный (в течение нескольких лет) характер.

Весьма непростой оказывается и процедура выделения критериальных признаков такого номенклатурного типа как *село*.

Села почти всегда вторичны, они есть результат определенной эволюции поселенческой структуры, как правило, ее усложнения. Села редко возникают как самостоятельный тип поселения, но обычно являются итогом трансформации других типов – деревень, острогов, слобод и даже городов. Возникновение сел обычно обусловлено необходимостью упорядочения субординационно-иерархических отношений в рамках определенной поселенческой структуры. Рост числа мелких поселений осложнял осуществление управления ими из немногочисленных крупных поселений, что вызывало необходимость создания промежуточных звеньев в иерархической цепи. В Зауралье исследуемого периода села, как правило, исполняли роль центра самого низшего уровня территориальных образований – церковного прихода, а также были местом проведения торжков местного значения.

Одним из отличительных признаков села была его относительно большая населенность, хотя вряд ли этот признак может считаться атрибутивным по отношению к данному типу населенных пунктов. Вообще местная специфика придавала отдельным поселениям такие черты, которые в ряде случаев приводят в затруднение при идентификации типа данного населенного пункта. Так, Тобольского Софийского дома село Воскресенское имело острог в 42 на 31 с половиной сажени, построенный в течение апреля-июня 1684 года для защиты села, земель и угодий «противу орды Калмыцкой». Строившие его 34 человека (пашенные крестьяне и бобыли Тюменского Преображенского, Кондинского Троицкого, Верхотурского Николаевского, Далматовского Успенского, Троицкого Рафайлова монастырей и Архангельской заимки)

[1] Цит. по: **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 83.

«лес ронили и возивши к реке Миясу, городовыя стены и башни рубили – не просто, а к верху с развалами, они вершили и крыли башни, по приличию, то драньем, то тесом с зубцами и не без украшений, оставляли в стенах ограды и башен, где требовалось, для пищалей и пушек бойницы»[1].

Таким образом, под селом можно признать почти чисто административное порождение, лишенное выраженных отличительных признаков как типа поселения.

Перенос структурной информации из метрополии в колонию в части номенклатуры типов населенных пунктов приводил к возникновению ряда интересных явлений. Прежде всего, это касается появления в Сибири такого типа поселений как *погост*[2]. В его возникновении здесь не было бы ничего необычного, учитывая широкую распространенность этого типа населенных пунктов на Русском Севере, если бы не одно обстоятельство. К исследуемому периоду времени погосты уже являлись

«пережитками очень глубокой старины в различных стадиях видоизменения и отмирания»[3].

Весьма красноречиво об этой стадии развития погоста как типа поселения говорит семантическая неопределенность, проявлявшаяся в употреблении этого термина. С.Б. Веселовский приводит следующие значения термина *погост,* употреблявшиеся на Севере:

«сельский приход, группа деревень одного прихода, волость, постоялый двор, этап сухого или водного пути, который делают без отдыха»[4].

Сущность зауральских погостов позволяют прояснить данные по двум из них, находившимся в Тобольском уезде. Преображенский погост, расположенный на реке Абалаке в 20 верстах от Тобольска, имел 4 двора причта и 16 дворов посадских, пашенных и оброчных крестьян. В нем же находилась церковь во имя Преображения, кото-

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 170-170 об.

[2] К последней четверти XVIII века в Тобольском наместничестве насчитывалось 42 погоста, в том числе остяцкие, вогульские и со смешанным населением (Описание Тобольского наместничества. – Новосибирск: Наука, 1982. – С. 35, 62, 166).

[3] **Веселовский С.Б.** Указ. соч. С. 14.

[4] Там же. С. 13-14.

рая была приходской для всех деревень, находившихся к югу от Тобольска. Второй погост – Рождественский – лежал при Иртыше вниз от Тобольска в 10 верстах; он состоял из трех дворов причта и трех дворов пашенных и оброчных крестьян. Деревни, находившиеся к северу от Тобольска, а также по Тоболу, составляли приход Рождественской церкви[1]. Таким образом, у нас нет оснований видеть в зауральских погостах что-либо иное, как не центр прихода. Также, видимо, нет оснований отделять погост как тип населенного пункта от села, вполне тождественного ему и функционально и внешне.

*Острог* являет собой наглядный пример переноса военно-оборонительной функции (острог как крепостное сооружение) за пределы города. Острог представлял собой укрепленный населенный пункт «для размещения воинских людей»; устраивались остроги первоначально как промежуточные пункты, связывающие города, и для проведения оперативных военных действий. Они обносились деревянным стоячим тыном и не предусматривали организации «посада»[2]. Остроги мы рассматриваем (вопреки устоявшемуся о них мнению как о «предгороде») в качестве одноуровневых с сибирскими слободскими поселениями. Впрочем, мы не относим сюда и не рассматриваем здесь те остроги, которые изначально устраивались на «городских правах» (Туринск, Сургут и др.).

Появление сибирских острогов являлось едва ли не самым конъюнктурно обусловленным. Поэтому о большинстве из них, даже в рамках рассматриваемого нами периода, можно говорить лишь в прошедшем времени. Уже к началу XVIII столетия значительная часть их либо исчезла, либо продолжала существовать, но уже на совершенно иной функциональной основе.

Многие зауральские населенные пункты имели причиной и началом своим военно-стратегические соображения и появлялись в виде сначала безымянных острожков и форпостов, не имевших на первых порах даже постоянного населения. Как правило, туда направлялись небольшие отряды служилых людей для наблюдения и охраны из ближайших городов и острогов на лето и осень, «пока снеги большие не укинут». Так, по некоторым данным,

> «построен Курган сначала в давных годах был, к защищению внутренних жителств от набегов киргис-кайсацких и башкирских российскими военными людми крепостью.

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 114-115.

[2] Первое столетие… С. 18.

А потом как населены крестьяне и построили церковь, переименован слободою»[1].

Возможно, что Царево Городище (будущий Курган) и являлся одним из таких небольших русских форпостов и, как можно предполагать, многолетняя дискуссия по поводу датировки его основания, обстоятельно рассмотренная В.В. Менщиковым[2], является прямым следствием этого обстоятельства.

Аналогично этому случаю в 1652 году, согласно В.К. Андриевичу, было приказано поставить острог на реке Барневе, впадающей в Исеть,

«но вслед за сим, за ненадобностью, он оставлен. Слобода Барневская отстроилась много позже и не из острога, который не был докончен»[3].

Первоначально на месте Катайского острога была поставлена застава (она стояла при знаменитой Старой Казанской дороге), вскоре фактически ставшая слободой, жители которой – беломестные казаки – отбывали службу и пахали так называемую «белую» землю, не облагаемую государевой податью[4].

Остроги и острожки объективно, уже самим своим существованием создавали основу для возникновения на их месте в будущем других типов населенных пунктов. Поскольку военная угроза для колониальной территории, постепенно расширяющей свои границы и укрепляющейся структурно, является фактором конъюнктурным, существование столь узкофункциональных поселений характеризуется крайней нестабильностью. Само существование колониальной защиты в виде острогов и острожков оказывается в прямой зависимости от агрессивности внешней среды[5].

Сельскохозяйственная окраска сибирских городов привела со временем к возникновению особого вида территориально-корпоративных объединений – подгородных *слобод*. Причиной их основания служили, как правило, городская теснота и удаленность от пашни. Жители этих слобод – служилые, посадские и крестьяне –

---

[1] Описание Тобольского наместничества… С. 116.

[2] **Менщиков В.В.** Русская колонизация Зауралья в XVII–XVIII вв.: общее и особенное в региональном развитии. – Курган: Изд-во КГУ, 2004. – С. 92-96.

[3] **Андриевич В.К.** История Сибири. – СПб., 1889. – С. 95.

[4] Там же. С. 96.

[5] В данном случае мы говорим об оценке, а не об имманентном ее качестве.

должны были обрабатывать государеву пашню под городом, делать «разные изделия», входившие в число натуральных повинностей, посадские также выполняли различные административные обязанности[1]. В наказе 1592 года на построение города Пелыма строительство слободы у города предусматривалось изначально[2].

Впоследствии, согласно нашему тезису об образовании зауральской колониальной поселенческой структуры как следствии функционального разделения первых сибирских городов, слободы начали устраивать и вне городов. В европейской части Русского государства слобода являла собой тип крупного сельскохозяйственного поселения и возникала обычно в местах подвергавшихся опасности[3]. Термин *слобода*, впрочем как и почти все остальные определения типов населенных пунктов, имел в рассматриваемый период двоякое значение. С одной стороны, это обозначение осваиваемой территории с более или менее определенными границами и так или иначе подчиненным центру наполнением. С другой стороны, это обозначение самого центра осваиваемой территории – поселения. В данном случае нас интересует слобода как населенный пункт. В слободе

> «находились острог, церковь, двор приказчика, государевы амбары. В слободе жили церковные причетники, судные дьячки, служилые люди (беломестные казаки). Здесь же находилась часть крестьянских дворов. Возле слободы расположены государевы десятины»[4].

Изначально острог не являлся атрибутивным элементом слободы как поселения. Так, жители Тагильской слободы, основанной в 1613 году, и Невьянской слободы, основанной в 1619 году, только в 1625 году били челом о постройке в них острогов[5]. В Чубаровой слободе острог был поставлен лишь после разорения ее кучумовичами в 1634 году через 10 лет после ее основания[6]. Через 4 года после постройки Нижне-Ницынской (Красной) слободы в 1628 году в ней был поставлен острожек, в который ежегодно на летнее время «для побегу пашенных крестьян и для приходу воинских людей» присылались

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 27.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 342.
[3] **Власова И.В.** Сельское расселение в Устюжском крае в XVIII – первой четверти XX в. – М., 1976. – С. 80-81.
[4] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 89.
[5] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Т. II. С. 87.
[6] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 72.

из Тюмени по 5 человек служилых людей[1]. В Киргинской слободе, заложенной в 1635 году, острог появился уже через 2 года в 1637 году[2]. Вопрос о строительстве острогов в Ирбицкой и Ницынской (Ощепковой) слободах был поднят только в 1641 году[3]. В Белослудской слободе острог завели только в 1650-м году через пять лет после ее основания, в Арамашевской – через 10 лет[4]. Любопытно, что в в ряде случаев инициаторами строительства слободских острогов выступали местные инородцы[5], видимо более осведомленные о враждебных замыслах различного рода «воинских людей». В 1625 году приказчик Ницынской слободы Б. Толбузин отписывал в Тобольск, что приходил

> «в новую государеву в Ницынскую слободу Обуховых юрт татарин Цербан Бесергенев, а говорил, пришед: ставьте де вы острог, будет де у нас с калмыками драка великая, нам де и вам быть побитым, жены де наши и ваши и дети будут в полону, а острог где поставите, и мы де своих жен де и детей к вам в острог приведем, учнем стоять за одно, измены де в нас не будет»[6].

По мере продвижения к югу и, соответственно, усиления военной опасности, возникла необходимость постройки острога в каждой вновь заводимой слободе, что нашло отражение в наказных памятях на их основание. Примечательно, что при сходных условиях и приблизительно в это же время острожные укрепления становятся неотъемлемым атрибутом слобод, строившихся на юге Европейской России – южнее Белгородской засечной черты[7].

По данным П.Н. Буцинского,

> «слободские остроги представляли собою небольшия деревянныя крепостцы – вокруг сажен 40 или 50, а за-

---

[1] Там же. С. 73.
[2] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 75.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 556-557.
[4] Там же. С. 620.
[5] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 333.
[6] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 377.
[7] **Водарский Я.Е.** Заселение юга России в конце XVII – начале XVIII вв. // История географии и историческая география. – М., 1975. – С. 22.

щитниками их были в первое время служилые люди, временно присылаемые из городов»[1].

Однако эти присылаемые на время люди часто «бегивали, не дожив до сроку», т.е. до осенних грязей, вследствие чего

«подобныя посылки скоро были отменены и временные защитники заменены постоянным войском, состоящим из беломестных казаков»[2].

Постепенно, уже при начальном устройстве слободы полагалось «и крестьян, и для розсылок караулов беломестных казаков призывать» (из наказной памяти на основание Красномысской слободы от 30 июня 1674 года)[3]. Прибор беломестных казаков наряду с крестьянами, так же как и строительство в каждой вновь заводимой слободе острога, становятся типичным явлением в практике слободского строительства.

В наказах сибирским воеводам непременным лейтмотивом было требование о заводе новых слобод. Впрочем, судя по тому как активно устраивали слободские поселения частные люди, государственные и церковные феодалы возникает впечатление, что слободы были неким родом прибыльных предприятий, а практика их заведения не нуждалась в постоянных напоминаниях «сверху». Выгодно это было и приказным людям. В 1659 году тобольский воевода кн. Иван Хилков даже отписывал туринскому воеводе кн. Ивану Мещерскому о недаче туринским детям боярским денежного, хлебного и соляного жалования, за время нахождения их в должности слободских приказчиков[4].

Основой русского расселения в лесостепной и степной зонах Зауралья стали почти исключительно остроги и слободы. В этом процессе А.Я. Дегтярев отдавал приоритет внешней опасности,

«вследствие которой формируется специфическая структура расселения и наблюдается концентрация населения в опорных пунктах»[5].

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 40.
[2] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 40, 74.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3223, л. 1.
[4] ДАИ, т. IV. С. 185.
[5] **Дегтярев А.Я.** Сельское расселение в Русском государстве XV–XVII вв. (Главные черты и факторы развития) / Автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Л., 1981. – С. 24.

Действительно, можно с большой долей уверенности говорить о том, что появление данных типов поселений в качестве основы расселения было вызвано полувоенным характером колонизации этой территории. В лесостепной части Зауралья функциональная близость этих типов поселений (необходимость обороны) и своеобразие средовых условий (земледелие как основа ресурсного самообеспечения) вызвали тенденцию к конвергенции, к схождению их формальных и сущностных признаков.

Так, острог под влиянием земледельческого характера колонизации и нерентабельности его жизнеобеспечения извне постепенно приобретает сельскохозяйственную окраску и становится административным центром складывающейся вокруг него, крестьянской по характеру, территориальной целостности. Слобода, в свою очередь, в условиях постоянной военной опасности приобретает вид укрепленного поселения, иногда содержащего воинские силы наподобие гарнизона, и даже перенимает отличительный признак острога как типа населенного пункта – частокол и сторожевые башни. Таким образом, различия между слободой и острогом постепенно становятся скорее формальными, чем сущностными. Этим, вернее всего, и объясняется факт неупорядоченности в использовании этих терминов даже в официальных источниках, показывающий тем самым несущественность их различий.

Вместе с тем, тенденция развития военно-политической конъюнктуры региона, заключающаяся в сдвиге к югу границы непосредственной военной угрозы и постепенном замирении кочевников, делала функционально невостребованным существование острогов в зоне сплошного русского заселения. Уже к началу XVIII века сам термин *острог* исчезает из номенклатуры появляющихся в Зауралье типов населенных пунктов. Слободы же в условиях, когда сельское хозяйство становится несомненной детерминантой развития региона, наоборот, продолжают появляться на протяжении всего исследуемого периода, теряя, правда, свои военно-оборонительные атрибуты по мере нормализации обстановки на юге. Функциональные задачи острогов и слобод по защите занимаемой русским населением территории начинают выполнять линии крепостей.

Как остроги являлись продолжением в пространстве функций городов по обороне, а слободы – по ресурсному обеспечению, так сибирские *ямы* являлись продолжением транспортно-коммуникационной функции городов. Первоначально функции эти выполняли ясачные и служилые инородцы. Но поскольку эти обязанности были чрезвычайно отяготительны для последних, все чаще

слышались прошения об устройстве ямов, специально предназначенных для исполнения данной функции. Так, в 1601 году тюменские служилые татары били челом царю о невозможности впредь исполнять ямские обязанности, указывая при этом, что

> «во всех де городех устроены ямы, а у них де на Тюмени яму нет»[1].

В ответ на прошение государь указал

> «на Тюмени устроити ямшиков против Верхотурского и Япанчинского»[2].

По мере того как города преодолевали свою первоначальную узкофункциональность, часть этих функций перекладывалась на подгородные слободы. Так случилось с подгородной слободой города Туринска, который первоначально устраивался как укрепленный острогом ям. Уже в 1601 году здесь возникла русская Ямская слобода[3], основанная в свою очередь по примеру ямской слободы у города Верхотурья[4]. Такая же Ямская слобода возникла под Тюменью в 1605 году по челобитью ямщиков, потому как

> «живут де они в Тюменском городе в остроге, а пашни де их и сенные покосы за речкою за Тюменкою, меж речкой Барымкою, и им де через речку Тюменку на пашни ездити и сено возити нужа великая»[5].

Отсутствие достаточного количества населения в Сибири еще не позволяло исполнением роли (ямской гоньбой) обеспечивать себя всеми необходимыми ресурсами жизнеобеспечения.

Постепенно ямские слободы стали возникать и вне городов. В 1635 году в связи с жалобами инородцев, исполнявших до этого обязанности ямщиков, на Иртыше были основаны русские ямские слободы – Демьяновская и Самаровская, функцией которых стало осуществление «ямской гоньбы» между Тобольском, Березовом и Сургутом. В 1640 году, однако, государевой грамотой в Тобольск повеле-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 192.
[2] Там же.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 63.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 383-384.
[5] Там же. Т. II. С. 219.

валось русских ямских охотников Демьяновского и Самаровского ямов перевести на пашню в Томск, а ямскую гоньбу

> «велено гонять тобольским и березовским и сургуцким остяком по прежнему»[1].

Столь странное распоряжение в некоторой степени проясняется в грамоте от 12 июня 1645 года, где сказано, что условием устройства русских ямов была оплата инородцами ясака в полном объеме, а также предоставление ими информации о землях и угодьях для нужд русских ямщиков;

> «а они ясачные люди с тех мест по вся годы нашего ясаку сполна не плачивали и из ясачных своих земель ямским охотником за наше хлебное жалованье пашен против указу им сполна не указали, а указывали пашни немногие»[2].

И если демьянские ямщики были готовы исполнять свои обязанности за одно денежное жалование, а взамен хлебного жалования – с пашни, то жители Самаровского яма, находившегося «в безпашенном и в пустом месте» такое предложение отвергли[3]. После шести (!) неудачных попыток найти пашенную землю в окрестностях Самаровского яма[4], в Москве все же решили не сводить русских ямщиков в Томск, а в прибавку к денежному жалованию (в 1661 г. немного увеличенному) дать им половинный оклад хлебного жалованья. Кроме того, обязанности ямщиков должны были по прежнему исполнять сургутские ясачные люди[5].

Для элементов поселенческой структуры характерно размножение в форме «почкования», когда определенная часть структуры населенного пункта (отдельный индивид или группа людей), переходя на новое местожительство, становилась структурообразующим элементом нового поселения (как правило, однотипного предыдущему). Ярко выраженным примером подобного типа расселения является *монастырская* колонизация.

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 541.
[2] Там же. С. 581.
[3] Там же. С. 582-583.
[4] Там же.
[5] Там же. С. 585, 635.

На размножение монастырей серьезное воздействие оказали учения пустынножительства. Учения Нила Сорского и Корнилия Кошельского о скитском житии препятствовали скучению монахов в немногих монастырях и сильно развивали монастырское расселение[1].

> «Старые монастыри при этом служили как бы рассадниками новых, ибо основатели монастырей обыкновенно начинали свое подвижничество в уже существовавших обителях и потом уже удалялись из них в пустыню и основывали там свои обители»[2].

Обращает на себя внимание похожесть даже в деталях, с которой этот процесс протекал в различных областях государства. Например, известно, что многие зауральские мужские монастыри (по примеру ряда монастырей из европейской России) имели женские монастыри-спутники, располагавшиеся в нескольких верстах от первых, и являлись инициаторами их возникновения. Даже схожесть внешних условий и единство внутренней организации монастырской жизни вряд ли способны к многократному воспроизводству подобных деталей. Возможно, дело заключается в существовании дополнительных информационных фильтров, побуждающих поступать совершенно определенным образом. Речь идет о так называемых *житиях*, не только реально служивших образцами поведения для монашествующих, но, собственно, и создаваемых с этой целью. В качестве таким же образом действующего информационного фильтра можно рассматривать и непосредственный опыт монашествующих, переходящих из монастыря в монастырь и способствующих тем самым информационному обмену между ними, а значит и их унификации.

Первоначально сибирские монастыри строились почти исключительно при городских поселениях. Как отмечал Г.Ф. Миллер,

> «в те времена на монастыри смотрели как на необходимую принадлежность всякого города»[3].

М.К. Любавский обращает внимание на характерное обилие людей, обычно пристраивающихся на жительство к отшельникам-пионерам и составляющих таким образом многолюдные монастыри.

---

[1] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 141.
[2] Там же. С. 135.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Т. II. С. 18.

> «Очевидно, – пишет он, – в обществе было много людей, почему-либо отбившихся от обычных занятий и форм сожительства и монастыри были, так сказать, кристаллами, в которых осаждалась бродящая часть народной массы»[1].

Заметим, что подобную организующую роль играли любые поселения, так или иначе структурирующие неупорядоченный социальный субстрат.

Первые опыты монастырского строительства в Сибири, до учреждения здесь архиепископской кафедры, предпринимались на страх и риск монахов-подвижников. Местные власти в лице воевод и голов не были заинтересованы в этом строительстве и монахам приходилось обращаться неосредственно к царю, чтобы начать или завершить начатое обустройство монашеских обителей. Так, в 1603 году черный поп Иона обратился к государю с челобитной, где указал, что заняв у верхотурских властей леса на строительство Никольского монастыря,

> «храмы воздвигнул, а на совершенье де ему лесу и тесу взяти негде; и вы де без нашего указу на совершение лесу бревен и тесу не дадите и того на нем заемного лесу, который у вас имал он на храмы, правите»[2].

Помимо указания о списании всех долгов за Ионой, последний получил в Москве всю необходимую для церковных служб утварь, а также денежное жалование в 6 рублей. А за хлебное жалование было велено устроить попа и дьячка

> «пашнею и сенными покосы и всякими угодьи, как мочно прокормится»[3].

В 1622 году к царю обратился игумен Никольского верхотурского монастыря Авраам с жалобой на действия верхотурского воеводы, запретившего служилым людям, пашенным крестьянам и ямским охотникам давать вклады в монастырь. Государь разрешил давать вклады «повольно»,

---

[1] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 138-139.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 213.
[3] Там же. С. 214.

«потому что в Сибири пашни много, а монастыри скудны, а опричь того, им строитца нечем»[1].

Однако и с устройством архиепископской кафедры отношение местных властей к монашествующим и духовенству мало изменилось. Киприан жаловался, что

«в которые де городы он архиепископ посылает к государеву богомолью игуменов и попов для церковного строенья… и тех де игуменов и попов ни в которых городех не принимают, и что кому жалованья идет хлебного и денег, и воеводы де им не дают»[2].

Иногда основатели монастыря изначально полагались только на собственные силы:

«…поставил де в Тюмени за ямскою слободою Преображенский монастырь старец Нифонт Казанской во 124-м году мирскою дачею, и питаетца пашнею, пашет пашню собою, свою роспашь, и мирскою, дачею, что давали всякие люди по душам своим, а нашего данья пашни и угодей к тому монастырю нет, и братьи де в том манастыре 3 человека, да дьякон, да пономарь»[3].

В Тюменских окладных книгах даже руги за этим монастырем записано не было.

В начальный период организации монастыря очень многое зависело от создателя монашеской обители. Часто они должны были не только решать различные организационные вопросы со светской властью, но и исполнять роль агентов по вербовке людей на жительство в монастыре. По всей видимости, именно этим занимался старец Далмат в сентябре 1651 года в Туринском остроге и слободах Тобольского уезда, когда тюменские и уфимские татары разорили монастырь[4]. Возможно, что тем самым он спас свою жизнь.

С организацией в 1621 году в Тобольске архиепископской кафедры и началом деятельности архиепископа Киприана начинается процесс превращения влачивших до этого жалкое существование

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 336.
[2] Там же. С. 344.
[3] Там же. С. 312.
[4] ДАИ, т. III. С. 328-330.

сибирских монастырей в крупнейших землевладельцев. Первоначально речь шла только о наделении монастырей всеми необходимыми земельными ресурсами «чем мочно сытим быти». Благодаря ходатайству Киприана в короткий срок земельные владения получили Покровский туринский, Тагильский Рождественский, Никольский верхотурский, Введенский верхотурский, Покровский Богородицкий верхотурский (девичий), Преображенский верхотурский, Преображенский тюменский монастыри[1]. Дальнейшее их становление в качестве землевладельцев зависело уже от инициативности и предприимчивости монастырского начальства.

П.М. Головачев отмечал, что из 37 монастырей, возникших в Сибири в течение XVII столетия, к концу века был упразднен 21[2]. Считаем необходимым заметить, что некоторых из этих «упраздненных» монастырей не было вообще. Случалось, что челобитчики по поводу заведения нового монастыря или церкви, «выманя» необходимые деньги на заведение и церковную утварь, «то все пропивают»[3]. Другие же из-за отсутствия умелого руководства или по каким-либо иным причинам очень быстро приходили в упадок и исчезали. Ко второй половине XVIII столетия в Зауралье имелось 9 мужских монастырей (из них 3 заштатных) и 4 женских (из них 3 заштатные). Здесь была сосредоточена основная активность монастырской жизни и хозяйственной деятельности Сибири. На всей остальной ее территории находилось еще только 7 мужских и женских монастырей[4].

*2002*

## 5.2. ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

Для населенных пунктов Зауралья (вне зависимости от их субрегиональной локализации) в той или иной мере была характерна военная окраска. Так, практически все сибирские города, остроги и многие слободы со времени своего основания были укреплены острожным строением и другими оборонительными атрибутами – валами, рвами, надолбами. В наиболее острые моменты оборонное строительство принимало общеколониальный масштаб. Так, 19 апреля 1699 года была написана царская грамота «О построении в сибирских городах городьбы и земляных валов около малых слобод и

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 314-317, 321, 331, 339.
[2] **Головачев П.М.** Указ. соч. С. 36.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 344.
[4] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 2011, л. 2.

деревень, в предосторожность от набегов калмыков, киргизов и Казачьей орды», предусматривавшая все иные слободы

> «перенесть в безопасное место, дабы впредь не претерпевали разорений и грабежа»[1].

Многие крупные населенные пункты юга Зауралья имели военные гарнизоны на постоянной или временной основе. К последней трети XVII столетия планировалось разместить драгун в Тарханском, Исетском, Маслянском и Катайском острогах, а также в слободах Ялуторовской, Терсюцкой, Куринской и Шадринской[2]. К концу XVII века гарнизоны уже стояли в Суерском, Мехонском, Исетском, Катайском, Ялуторовском, Колчеданском острогах, а также в слободах Маслянской, Арамильской, Шадринской, Царевом Городище[3]. По данным 1709 года отряды драгун высылались в Белоярскую Теченскую, Чумляцкую, Песчанскую слободы, на Уктусские заводы и в Воскресенский митрополичий городок[4]. По сведениям 1749-1750 годов укрепления (острог, башни, частокол, рогатки, надолбы, рвы) имели Ялуторовский острог; Суерский острог и административно подчиненные ему деревни Московская и Сингирева; Емуртлинская слобода и деревни Кашаирская и Нерпина; Верх-Суерская слобода, деревня Терпугово и Омутский форпост; Усть-Суерская слобода, село Шмаковское и деревни Плотникова и Волосникова; Белозерская слобода и деревня Истоцкая; Тебеняцкая слобода; Салтасарайская слобода; Иковская слобода и деревни Бакланская, Чунеева, Варлакова; слобода Царев Курган, село Введенское и деревни Силкина, Черемхова, Утяцкая, Комарская, Чимеева, Челнокова, Шкоцкая; Утяцкая слобода, село Успенское и деревни Меньщикова, Голышева, Предеина, Собанина[5].

Хотя нельзя сказать, что военная опасность как фактор имела первостепенное значение в жизни населения края, но то, что этот фактор сыграл весьма существенную роль в формообразовании и содержании поселенческой структуры Зауралья, видимо, особых возражений не вызовет. Неким символом этого аспекта организации зауральского населения могут стать многочисленные свидетельства

---

[1] РГАДА, ф. 199, № 478, ч. 3, д. 56, л. 16.
[2] **Титов А.** Указ. соч. С. 28-29.
[3] **Андриевич В.К.** Указ. соч. С. 188.
[4] Там же. С. 189.
[5] Список населенных мест по сведениям 1868-1869 гг. Т. LX. Тобольская губерния. – СПб., 1871. – С. LXXXI-LXXXII.

XVII–XVIII веков о постепенно разрушающихся укреплениях городов, острогов и слобод, большинство из которых так и не испытали осады неприятеля. Вообще подобное положение дел диктовалось, на наш взгляд, не вполне адекватным представлением Москвы относительно ситуации в Сибири.

> «Очень может быть, что московское правительство вместе с тем и боялось Аблегирима, считая его сильнее, чем он был на самом деле и ожидая с его стороны смелых нападений…»[1].

Это предположение П.Н. Буцинского относительно мотивов постройки Пелымского острога можно в обобщенном виде перенести и на всю политику Москвы по организации поселенческой структуры Зауралья рассматриваемого периода. В этом смысле большой интерес представляет соображение Д.Я. Резуна о трех этапах оборонного строительства в Сибири:

> «Сперва, еще не располагая точной информацией о численности аборигенов и характере возможного сопротивления, правительство ставило “города”. Но уже со второго десятилетия XVII века, убедившись в слабости противника, оно… ограничивается “острогами”. А на последнем этапе все чаще закладываются уже даже не “остроги”, а укрепленные слободы»[2].

Процедура выбора места под основание нового поселения интересна не только в качестве некоторой последовательности действий, приводящей к созданию населенного пункта, но и как акт творения элементов поселенческой структуры, создающих ее неповторимый рисунок. По сути, речь идет о поиске той информации, которая в конечном итоге инициировала самоорганизацию населения. Естественно, эта информация по своему количественному и качественному составу должна была варьироваться в соответствии с теми функциями, с исполнением которых было связано основание данного поселения.

Само существование поселений во многом определялось надлежащим исполнением ими функции жизнеобеспечения. Наиболее важными аспектами этой функции были ресурсное самообеспечение

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 162.
[2] **Резун Д.Я.** Фронтир в истории…

и обеспечение собственной безопасности. Ресурсная основа (вернее, представление о ней) являлась несомненно доминантной в определении места основания поселения. Это касалось и населенных пунктов, для которых добыча ресурса являлась основной ролевой функцией, и, как мы увидим ниже, поселений, не связанных непосредственно с присвоением какого-либо ресурса.

Своего рода «микрофакторами» основания поселений являлась практика «наложения» различных культур. Еще в Приуралье известен факт строительства будущих слобод «на местах чудских городищ и славянских городков»[1]. Эта уже ставшая традицией практика стала осуществляться и в Зауралье, благо, что городищ, как совсем недавнего, периода татарского владычества, времени, так и древних, здесь было предостаточно. Подтверждается это и сравнительной распространенностью термина «городище» в различного рода топонимах.

Уже при строительстве первых сибирских городов воеводский наказ предусматривал

> «присмотрить под город место, где пригоже… или старой город занять…»[2].

В 1658-1659 годах по досмотру из Тюмени нашли

> «старой Татарской городок; а где, государь, быть твоей великого государя слободе и острогу крепости тому Явлутуру городку, обошла с дву сторон Тобол река, а с третью сторону озеро болшее Чать, от того, государь, озера с четвертую сторону того городка выкопаны два рва глубокие, мерою глубина по три сажени, а меж теми рвами вал земляной и до Тобола реки, а въезд в тот городок однем местом дорогою через те рвы и вал земляной, а водяной звоз в тот городок рвом от Тобола реки, а окроме де, государь, того въезду в тот городок въехать никоими мерами нелзе… а кругом… тех пашенных мест прилегли лесы темные и места крепкие и болотные и зыби непроходимые»[3].

---

[1] **Александров В.А. и др.** Указ. соч. С. 1, 16.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 340.
[3] ДАИ, т. IV. С. 152-153.

В некоторых случаях занятие старых городков под новое городское и острожное строительство имело под собой не наложение различных культур, а наложение различных аспектов одной культуры. В наказе 1601 года мангазейским воеводам В. Масальскому и С. Пушкину прямо говорится о возможности занятия ими под строительство Мангазеи русских и зырянских торговых городков:

> «Да будет у торговых людей которой городок поставлен у места, и государевым людям впредь жити в нем мочно, и пустозерцом и всяким торговым людем в Мангазею ходити мочно, и князю Василью и Савлуку того городка или острогу прибавить кругом»[1].

Использование естественных или искусственных, доставшихся в наследство от древних культур, укреплений не только естественным образом вошло в практику русского заселения, но и было включено в качестве одного из требований к первоначальному устройству населенных пунктов. В 1743 году в доношении о постройке укрепленной линии от Утяцкого форпоста до слободы Чернолуцкой содержалось требование

> «чтоб под крепости места положением своим не токмо построенными валами, но и натуралные укрепления ко обороне свое имели»[2].

Поселения, не имевшие естественной защиты, нуждались в возведении искусственных оборонительных сооружений. Вот как обосновывает необходимость постройки острога в Чубаровой слободе туринский воевода В. Корсаков в своей отписке от 23 марта 1628 года в Тобольск:

> «И то Чубарово городище стало на степном месте, а острогу и надолб и никаких крепостей круг Чюбарова городища нет, а крестьянские дворы стоят врознь, а какой приход будет воинским людем к Чюбарову городищу, и чюбаровским пашенным крестьяном без крепости сидеть

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 393-394.
[2] РГАДА, ф. 199, № 365, ч. 2, д. 7, л. 5 об.

будет неуметь, а лесу и болот блиско Чюбарова городища не прилегло и укрепитца будет негде»[1].

Если, как мы уже упоминали, поселения в общем случае были местами, предоставлявшими своему населению целый комплекс ресурсов, было бы интересно проследить критерии основания таких казалось бы узкофункциональных населенных пунктов как военные укрепления – крепости, форпосты и редуты. Иными словами, интересен тот набор информации, который инициировал организацию военно-служилого населения. В правительственном указании 1743 года на проведение укрепленной линии от Утяцкого форпоста через Коркину слободу и далее на слободу Чернолуцкую содержались требования, чтобы «для людей леса, воды и земли к хлебопашеству и к содержанию скота угодныя и безопасныя были», поскольку «те будущие жилища населять и крепости без недостатку содержать» должны были не только и не столько представители собственно военно-служилого сословия, так называемые «команды», но и живущие там (если данная местность была заселена) «обыватели»[2]. В соответствии с этим распоряжением, по досмотру и за подписью капитана Новоселова и боярина Выходцова была составлена «Опись тракту и вновь назначенным крепостям и редутам», дающая краткие характеристики выбранным для поселения местам. Квалифицированные по пяти основным критериям (лес «на хоромное строение» и дрова, сенные покосы, пахотная земля, вода «угодная к пище человеческой» и промысловые угодья), места эти после досмотра представляли следующую картину: из данных по восемнадцати (по Коркиной слободе данных нет) проанализированных нами мест к поселению не имели вовсе или испытывали нужду в лесе 4 пункта, в сенных покосах – 8 пунктов, в пахотной земле – 5 пунктов (еще по двум пунктам нет данных), в хорошей воде – 1 пункт (еще по одному нет данных). Семь мест имели промысловые угодья в виде рыбных ловель (по другим пунктам данных нет). Полным комплексом угодий обладали 9 пунктов, т.е. только половина. Еще пять пунктов имели в достатке лишь половину (в ряде случаев и меньше) указанных типов угодий, не имея или имея «со скудостью» все остальные, в том числе и такие важные, как питьевая вода[3]. Весьма неудовлетворительное состояние этих мест, однако, не являлось следствием правительственного указания

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 394.
[2] РГАДА, ф. 199, № 365, ч. 2, д. 7, л. 5 об.-6.
[3] Там же. Л. 1-3.

> «от места до места не далее как по 30 верст чтоб между форпостами пустоши оставалось»[1].

По нашим подсчетам среднее расстояние между соседними укреплениями составляло лишь пятнадцать с половиной верст. Таким образом, вряд ли чисто формальные требования диктовали такую «неудобную» локализацию укреплений. Наиболее вероятным представляется то, что более приемлемые местоположения не были найдены, либо по тем или иным причинам не были приняты во внимание.

Ландкарта, сочиненная в 1745 году геодезистом прапорщиком Иваном Куроедовым, показывает, что одновременно проверялось несколько вариантов проведения укрепленных линий, отстоящих друг от друга в меридианальном отношении иногда на довольно значительном расстоянии. Некоторые из этих вариантов были отвергнуты уже при первоначальном досмотре. Пригодным оказался лишь рассмотренный нами выше тракт от Коркиной слободы до Утяцкого форпоста. Только эти места могли предоставить «довольное число» годного к строению леса, а также некоторое число малых полян с черной пахотной землей, увеличить которую «для удовольствия пашен» можно было лесными расчистками. Сенных покосов и поскотин «имеетца по лесам и вкруг болот и озер». Единственным серьезным недостатком оказалось то, что места эти

> «все лесные и от неприятеля за оными лесами опасные, что может неприятель подъехать поблизости к крепостям, которого усмотреть будет невозможно за оными лесами»[2].

Таким образом, часто не обеспеченная ресурсами локализация укрепленных населенных пунктов вызывалась не функциональными причинами (как мы видим, строительство проводилось даже в ущерб функции), а относительной скудостью ресурсов, которые могли предоставить выбранные к заселению места. То, что не все места были приняты во внимание доказывает рассмотренная нами ниже карта, которая ясно показывает слабую информированность о территории Тоболо-Ишимского междуречья.

Планирование постройки Новоишимской (получившей впоследствии название Пресногорьковской) линии крепостей выявило недостаточное знание местности ее предполагаемого создания. Весьма

---

[1] РГАДА, ф. 199, № 365, ч. 2, д. 7, л. 7 об.
[2] РГВИА, ф. 424, д. 7, л. 1.

красноречиво об этом свидетельствует карта 1746 года, где намечался примерный маршрут новой линии[1]. Однотонно заштрихованный фон, отображавший Тоболо-Ишимское междуречье, рассечен несколькими сравнительно узкими линиями с обозначениями местных ориентиров (в основном озер и небольших лесных массивов) – линиями старых и вновь планируемых к построению крепостей. Вполне очевидно, что обозначение озер и лесов только вдоль этих линий показывает не столько отсутствие интереса к смежным территориям (отсутствие такого интереса у военных было бы трудно объяснить), сколько свидетельствует о практически полной неосведомленности о них. Отмечалось на картах лишь то, что непосредственно окружало население этих линий, да то, где пролегал маршрут планировщиков. Косвенно об их незнании местности говорит то, что ни к одному из озер не применено имя собственное, а даны лишь их краткие характеристики (обычная процедура при начальном ознакомлении): «грязное», «горькое», «соленое», «пресное», «поросло камышом» и т.д.

Некоторое представление о механизмах поиска, досмотра и отвода земли, предшествовавших основанию слободских поселений, дают нижеследующие (типичные для рассматриваемого времени) документы. В наказной памяти верхотурского воеводы Ивана Колтовского приказчику Семену Будакову 1666 года об осмотре места для постройки слободы на реке Пышме:

> «…в нынешнем во 174 году писал ты на Верхотурье, что ведомо тебе учинилось от Пышминских беломестных казаков, и от оброчных крестьян, и от всех чинов людей: есть де место от Пышминского острогу вверх по Пышме реке за полднище, и то место крепко промеж реками Пышмою да Мышенской речкой, и иным де слободам то место обереж от воровских воинских людей; и на то де место годно слобода построить… и ты б… взял с собою беломестных казаков и крестьян, сколко человек пригоже, и судной избы дьячка, и ехал на то место и досмотрел, где годно слобода строить, и на сколько будет десятин пашенных земель и сенных покосов и каких всяких угодей и рыбных ловель, и какие на том месте от воинских людей есть крепости, и промеж какими речками и с кем те земли смежны, и на межах какие есть признаки, и

[1] РГВИА, ф. 416, д. 358, л. 1.

кто крестьяне и какие люди хотят на то место селитца…»[1].

В 1639 году туринский воевода Кофтырев писал царю Михаилу Федоровичу о месте под основание новой слободы (сл. Благовещенская):

> «Вверх по Туре реке есть речка Сусатка от туринского острога верст за 50 и более, а по той речке есть дикое поле… а на том диком поле государеву пашню завести можно, и тою речкою Сусаткою весною, в большую воду, хлеб судами сплавлять в Туру можно… и лес к той речке для судового дела, для постройки государевых житниц и крестьянских дворов есть верстах в четырех или пяти и пашеннаго места много…»[2].

Поскольку основание поселений было делом по преимуществу индивидуальным или, во всяком случае, совершалось по решению очень ограниченного круга лиц, процедура эта сопровождалась значительным риском расположения населенного пункта в неудобном месте. Традиционное микроположение русских городов, основанное на двух основных требованиях: оборонительном значении местности и удобстве размещения жителей, делало наиболее типичным расположение городов на мысах, образованных при впадении в реку другой реки, оврагов или болот, либо в излучинах рек на возвышенностях[3]. Однако такое микроположение, помимо несомненных преимуществ, таило в себе и некоторые неудобства. Так, например, из Сибири до Верхотурья, служившего главной транзитно-транспортной базой на пути между европейской частью русского государства и Сибирью, не всегда можно было добраться водным путем по реке Туре. В 1600 или 1601 году, во время отправки в Москву Кучумова сына царевича Берди-Мурата, специально оговаривался вариант его сухопутного сопровождения, если «в стругех будет рекою для мелей до Верхотурья не дойти»[4].

Еще более серьезным образом это микроположение влияло на грузовые перевозки. Так, поскольку река Тура была

---

[1] ДАИ, т. V. С. 89-90.
[2] Цит. по: **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 76.
[3] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 41-43.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 192.

«под городом мелка, то в городе суда грузились неполною кладью, заканчивая таковую уже в 40 верстах ниже города»[1].

Летом 1607 года верхотурский воевода А. Загряжский отписывал в Тобольск о невозможности отправки туда зерна, потому как

«судов нет и река замелела»[2].

Такая локализация города последовала во многом из-за того, что по первоначальной смете оказалось

«тому месту городовая стена не надобе, потому что то место добре крепко, никоторыми делы взлести не мошно»[3].

Тем самым, основная функция (транзитно-транспортная) данного поселения страдала из-за преувеличения (при основании города) значения второстепенной функции – оборонительной. Эти же соображения позволили Л.Е. Иофе заявить, что Верхотурье может служить примером того, как

«насильно удерживался в качестве центра связи Европейской России с Сибирью пункт, не облегчавший, а затруднявший эту связь»[4].

В начале 1600 года царской грамотой предписывалось тюменскому голове Федору Янову

«отправиться на реку Туру, в Епанчин юрт с тобольскими и тюменскими служилыми людьми и основать там ям и государеву пашню, а для защиты ямщиков и пашенных крестьян построить острог»[5].

Иными словами, ямская гоньба была структурообразующей функцией для данного поселения. Однако даже во второй половине XVIII века мимо Туринска

---

[1] **Андриевич В.К.** Указ. соч. С. 48.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 232.
[3] Там же. Т. I. С. 367.
[4] **Иофа Л.Е.** Указ. соч. С. 11, 70-71.
[5] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 62.

«летом за грязью, а зимой за глубоким снегом проезжать весьма трудно»[1].

Построенный с той же целью, что и Туринск, Сургут имел также весьма неудобное расположение. Он был поставлен не на самой Оби, а на протоке под названием Бардаковка, которая выходила из Оби в трех верстах выше города и в таком же расстоянии ниже города впадала обратно. Купеческие и промышленные суда проходили мимо города только «в разлитие вод»,

«но по вступлении вод реки Оби в свои берега, сия речка Бардаковка во многих местах пересыхает, почему уже в то время никакие суда мимо города непроплывают, а имеют хождение свое по реке Оби, лежащей от города верстах в 4-х…»[2].

Расположение поселений на мысах рек, на местах традиционно нестабильных в плане устойчивости к воздействию стихии, очень часто являлось причиной появления многочисленных прошений с мест о дозволении переноса города. Березовский воевода Петр Черкасский писал в Москву в 1607 году, что

«от речки Вагулки городовую стену подмыло водою»[3].

Из Березова же в 1636 году сообщали:

«И воеводской де двор подмыло водою, потому что та городовая стена и воеводцкой двор поставлены блиско берегу, а берег осыпаетца в реку…»[4].

В отписке тюменского воеводы Федора Веригина о перенесении Тюменского острога в сторону посада читаем:

«…и тот город Тюмень, от Туры реки и от Тюменки речки, башни и стены вешнею водою подмыло, и из под башен и с под стен горы осыпались и стены городовые и башни висят под гору к Туре реке и к Тюменке речке, и тарасы под те городовые башни и под стены никоторыми, госу-

---

[1] РГВИА, ф. 416, д. 535, л. 35 об.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 341, оп. 1, д. 349, л. 84.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 230.
[4] Первое столетие… С. 73.

дарь, мерами подвести не возможно, потому что горы и от Туры реки и от Тюменки речки высоки и круты»[1].

Помимо этих частных и не всегда действенных мер, власти решались и на крупномасштабные акции по исправлению ошибок в выборе места основания поселения путем изменения некоторых элементов географического ландшафта. Так, согласно одному из свидетельств, устье Тобола находилось первоначально не в нескольких верстах выше Тобольска, о чем обычно упоминают историки, а как раз напротив нагорной части города, из-за чего берег сильно обрушался. Сибирский губернатор М.П. Гагарин около 1716 года, воспользовавшись пребыванием в Тобольске пленных шведских солдат, приказал прорыть канал из Тобола в Иртыш в трех верстах выше города, где и образовалось новое устье реки[2]. Подобное масштабное воздействие на природный ландшафт было вполне в духе гидротехнических работ, проводившихся тогда во многих местах Российского государства[3].

Основными претендентами на недолговременность и запустение всегда выступали мелкие населенные пункты – деревни, заимки, починки. Сравнительно плотная заселенность некоторых районов Зауралья к концу первой четверти XVII столетия (если судить по числу поселений) не должна смущать: не многие из этих населенных пунктов имели будущность. Как писал П.Н. Буцинский:

«…многия из них скоро после основания уничтожались вследствие того, что владельцы бросили там пашни, находя невыгодным обрабатывать оныя, и заводили пашни в других, более плодородных местах»[4].

Во второй половине XVIII столетия положение поселений, создаваемых для обеспечения укрепленных линий, стало крайне неустойчивым из-за острой нехватки женщин. В приватной беседе с одним из правительственных чиновников тобольский губернатор обмолвился, что

---

[1] ДАИ, т. IV. С. 96.
[2] Список населенных мест… С. XXVII.
[3] См.: **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 171, 177.
[4] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 32.

> «естьли впредь небудет зделано о сем никакого распоряжения, то заведенные ныне селения через время почти все должны истребитца»[1].

Судя по документам начала XIX столетия это, в конце концов, и произошло. Возникшие транспортные затруднения по линейному тракту ишимский земский исправник объяснял тем, что

> «жители ж в крепостях, форпостах и рудутах есть большею частию служилыя казаки, а крестьян, отставных от службы и малолетков повсеместно самомалейшая часть»,

на основании чего просил

> «возстановить по местам, где будет надобность, пристанное число от ямщиков или поселян с упряжью лошадей»[2].

В начальный период строительства русских городов в Сибири уничтожению подвергались и временные, а также утратившие свое значение, а потому ликвидируемые, города и остроги. Так, в наказе декабря 1592 года на строительство города Пелыма читаем:

> «И став в Тоборах в старом городе или в новом месте, где крепчае, заняв острог, укрепитися, а старой городок разорити, чтоб у Тоборовских людей города не было»[3].

В 1594 году был уничтожен и знаменитый Обский городок, поставленный против устья Иртыша на Оби воеводой Иваном Мансуровым еще в 1585 году. Он не имел постоянного населения, а жили в нем «годовальщики», присылавшиеся на определенный срок для удержания в повиновении обских остяков и сбора с них ясака. После принятия решения о строительстве Сургута Обский городок оказался функционально невостребованным и был разрушен[4]. Таким образом, потеря конкретным поселением своей былой ролевой функции, а также невозможность либо нецелесообразность его ресурсного обес-

---

[1] РГАДА, ф. 24, д. 57, л. 4-4 об.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 329, оп. 13, д. 157, л. 65 об.-66.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. I. – С. 341.
[4] Там же. С. 487.

печения делали такое поселение нефункциональным, а его существование неоправданным.

При всем этом, видимо, не следует рассматривать существование поселения как жестко зависимое от его способностей и возможностей в выполнении жизнеобеспечивающей и ролевой функций. Вообще явление исключительной стабильности поселенческой структуры и ее элементов – конкретных поселений – еще недостаточно привлекло внимание специалистов. Мы видим, как радикально изменились условия и факторы, приведшие к формированию той или иной структуры расселения, а она остается в основных своих чертах прежней, меняются лишь связи, отношения, роли и значения ее элементов. Мы видим, как исчезновение необходимых для возникновения и существования некоторых типов населенных пунктов условий не приводит к исчезновению самих этих поселений, но ведет к длительному процессу их видоизменения или отмирания. Мы видим, как поселение, не имеющее возможности исполнять свою основную функцию сколько-нибудь удовлетворительно, тем не менее продолжает существовать даже при всех его недостатках.

«Инерционность оставшихся от прошлого форм расселения» отмечает и А.Я. Дегтярев. Он считает, что

> «постоянное отставание расселения от изменений в системе общественного производства возникает вследствие высокой относительной устойчивости материальных структур расселения и необходимости больших затрат труда на создание новых форм»[1].

По нашему мнению, стабильность материально-вещественным проявлениям социальных структур придает еще и то, что они становятся информационными фильтрами. А это значит, что пропускают они только ту информацию, которая тем или иным образом «оправдывает» существование этой структуры, делает его понятным, а следовательно, устойчивым.

*2002*

## 5.3. ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Под «поселенческим комплексом» понимается совокупность поселений, обладающая системной целостностью. На локальном

[1] **Дегтярев А.Я.** Указ. соч. С. 25.

уровне подобная целостность конституируется центральным поселением и административно зависимыми от него населенными пунктами (как правило, таксономически одноуровневыми). Конкретно нами будут рассмотрены монастырские вотчины и административно-территориальные целостности, складывающиеся у городов, острогов и слобод. Более крупные и более аморфные территориальные образования, такие как уезд, разряд, губерния, рассматриваться нами не будут, поскольку не обладали тем уровнем целостности, который позволил бы рассматривать их сколько-нибудь изолированно. Кроме того, границы этих образований были достаточно условны и зависели от многих, в том числе и конъюнктурных, обстоятельств[1]. Также не будут нами рассматриваться и возникшие на более позднем этапе эволюции поселенческой структуры Зауралья русские волости, пространственная конфигурация которых диктовалась формальными требованиями (как правило, определенным количеством жителей).

Прежде всего, необходимо вычленить критериальные определители локальных поселенческих структур (комплексов). Совершенно очевидно, что это могут быть только функционально-субординационные отношения «центр-периферия». Известно, что структуры подобного типа складываются обычно при необходимости осуществления процессов, определяемых

> «либо функцией очага, распространяющего на окружающую территорию потоки вещества, энергии и информации, либо функцией фокуса, наоборот стягивающего данные потоки в своем направлении»[2].

В реальных поселенческих комплексах эти функции конечно же сосуществовали. Управленческие информационные потоки – более сильные прямые (от центра) и более слабые обратные (к центру) – были сопряжены здесь с потоками ресурсными – более слабыми прямыми (от центра) и более сильными обратными (к центру).

Сущность подобного рода комплексов не зависела от неоднородности географического пространства, но форма их складывания, их конфигурация такое влияние несомненно испытывала. Влияние это не было однозначным: многообразие и изобилие ресурсов посе-

---

[1] Например, уездные границы могли быть изменены в соответствии с прошениями местных инородцев, пожелавших сдавать ясак в более удобный для них уездный центр.

[2] **Зубков К.И.** Указ. соч. С. 16.

ленческого комплекса могло означать нестабильность и малосвязность его структуры, и наоборот.

Можно выделить три основных типа складывания локальных поселенческих комплексов в географическом пространстве: целостный, дискретный и смешанный, совмещавший признаки первого и второго. Целостный тип был представлен почти исключительно городскими, слободскими и острожными поселенческими комплексами, дискретный и смешанный – монастырскими.

**Целостные** территориальные комплексы расселения М.К. Любавский называл *колониями,* под которыми понимал городки и острожки с окружающими их поселками[1]. Ставя в основе этого выделения не функционально-организующие структуры, а некую очаговость, анклавность русского заселения, М.К. Любавский разбирает один из путей образования, генезиса подобных поселенческих очагов. Согласно его рассуждениям, жители сибирских городов получали на свое содержание земли сначала у самих городов, а затем, по недостатку удобных к земледелию земель, и в значительном от них отдалении. Эти так называемые *отъезжие поля* приходилось обрабатывать наездом из города.

> «С течением времени землевладельцы стали строить на этих землях дворы и селить бывших в их распоряжении рабочих, т.е. родственников, холопов… разных гулящих людей, которые делались их захребетниками или половниками… Чем более приливало в Сибирь рабочего люда, которым могли воспользоваться землевладельцы, тем дальше от города получали земли служилые люди и духовенство, тем более возникало на этих землях самостоятельных поселков – деревень»[2].

В проводившихся в 20-х годах XVII столетия описях населения сибирских городов оказывалось, что едва ли не у большинства служилых людей есть заимки и деревни. Так, например, 42 служилых человека г. Тюмени имели свои деревни. Большинство служилых людей г. Тобольска имели деревни по р. Иртышу и его притокам в 1–2 двора, в которых жили частью их свойственники, дворовые люди, частью гулящие и ссыльные, которых воеводы раздали им в крестьяне. Служилые люди Верхотурья основали 19 деревень. То же самое справедливо и по отношению к посадским и пашенным крестьянам.

---

[1] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 239, 250.

[2] Там же. С. 251.

Деревни представителей этих сословий встречаются к концу первой четверти XVII столетия в Тобольском, Верхотурском и Тюменском уездах[1]. Заводя деревни, они в большинстве случаев продолжали жить в городах. По-видимому, то же самое наблюдалось впоследствии в слободах и острогах. Большинство деревень и заимок, возникавших в их окрестностях, принадлежали (по крайней мере в первые годы) жителям центрального поселения. Так, в 1625 году в новой Ницынской слободе никого не нашлось для исполнения одного из административных поручений, поскольку

> «крестьяне стали пашни пахать по своим заимкам в отъезде»[2].

Постепенно, однако, структура локальных поселенческих комплексов начинает приобретать все более устойчивый и постоянный характер. Рассмотрим слободскую территориально-административную целостность в качестве модели структурной организации подобных социально-пространственных образований. Мы уже упоминали о двойственности в употреблении в рассматриваемый период термина *слобода*. Помимо обозначения типа населенного пункта, он означал территорию,

> «которая составляется из слободы в узком значении этого слова и всех «тянувших» к ней селений (деревень)»[3].

Первоначальный очаг заселения становился, по выражению Г.С. Плотникова, «закваскою» для деревень и заимок, возникавших в пределах административно-территориальной целостности[4]. Центр такой целостности выступал для окрестных поселений в качестве административного, экономического, инфраструктурного и во многом культурного ее средоточия. Собственно само неравенство отношений центра и периферии служило гарантом сохранения целостности данного территориального образования. В этом смысле представляет интерес суждение Г.С. Плотникова о внутренних (сегодня бы мы их назвали системными) факторах организации такой целостности, суждение, основанное на анализе им наказных грамот на основание окружавших Далматов монастырь слобод:

---

[1] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 251-252.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 373.
[3] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 89-90.
[4] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 132.

> «…кто невидит, что правительству и поступать иначе ненадлежало, как указать на отношения жильцов к слободчику, слободчика к жильцам, обоих к службе государевой, и тем упрочить сих слобод безопасность и существование»[1].

Территориальные пределы локальных поселенческих комплексов ограничивались, как правило, рамками первоначального отвода. Необходимыми условиями для такого отвода были «незаписанность» ни за кем отводимой земли; наличие подходящего, «крепкого» места под строительство центрального поселения; наличие и доступность земельных ресурсов – пашни, сенных покосов, промысловых угодий. Обычно уже первоначальный досмотр выявлял приблизительные количественные и качественные характеристики пригодной для освоения земли и примерную численность населения, которое можно будет здесь расселить.

Как правило, территориальные пределы отводимой земли не были очень обширными. Слишком крупные территориально-административные образования были нецелесообразны не только с точки зрения снижения скорости обратных связей между центром и периферией, что объективно затрудняло управление, но и с точки зрения безопасности. Понимал это и потенциальный противник. В 1623 году казанские торговые татары, будучи в калмыцких улусах, из разговора тайшей узнали, что

> «они де колмацкие люди хотят прити под Тюмень войною в сноп, Тюмень де от иных городов удалела, а люди де на Тюмени живут в уезде от города в одале, покаместа де русские люди збираютца, и мы де хлеб потопчем и деревни позжем»[2].

Вместе с тем, отводная практика, основывавшаяся обычно на первоочередном удовлетворении хозяйственных потребностей жителей данной административно-территориальной целостности, не всегда была равнозначной для разных типов населенных пунктов. Очевидно, можно говорить о дискриминационных моментах в отношении территориальных целостностей, складывавшихся вокруг небольших острогов. Если для организации слободы наличие достаточно обширной свободной территории являлось обязательным условием, то

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 169 об.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 355.

практика земельных отводов, касающаяся острогов, удивляет иногда совершенным пренебрежением к наделению их необходимыми земельными ресурсами. Так, Новопышминский острог, все более превращавшийся в слободу, даже не имел собственной отводной земли и был заведен на заимках Невьянского монастыря, что вызывало непрекращавшиеся конфликты между ними по поводу земли и других ресурсов. При проведении межевания между Новопышминским острогом и Калиновской слободою межевщик Василий Турский

> «отмежевал земли под Калиновскую слободу близь Новопышминского острогу… а до той де межи от Калиновского острогу будет верст с семь и больше, а от Новопышминского острогу только будет полверсты»[1].

При земельном отводе Троицкому Рафайлову монастырю в 1657 году межа его вотчины проходила всего в трех верстах от Исетского острога[2]. Военно-служилый характер этих поселений, вероятно, мешал видению в них столь же зависимых от земельных ресурсов населенных пунктов, как и слободы.

Примером образования **дискретной** поселенческой структуры является процесс организации вотчин некоторых зауральских монастырей. Как правило, дискретная поселенческая структура, т.е. не образующая целостности в географическом пространстве, возникала в результате ресурсного дефицита или/и нехватки достаточного для образования целостной структуры населения пространства. В этом случае административно-территориальные комплексы представляли собой ряд поселенческих анклавов, разделенных с центром и между собой территориями других административных целостностей. Подобная ситуация была характерна в основном для городских и подгородных монастырей, находящихся в достаточно густонаселенных районах, а также для монастырей, не имевших возможности создать свою развитую поселенческую структуру по природно-климатическим условиям.

Так, Тюменский Святотроицкий монастырь, построенный при городе Тюмени, не имел здесь, однако, ни отводной пашенной земли, ни сенных покосов. Тем не менее по переписи 1744 года указанный монастырь имел во владении 502 души крестьян (241 душа тяглых и 261 нетяглых), пахотной земли 650 десятин, сенных покосов на 14 570 копен, 5 мельниц, 2 конских табуна, 4 рыбных ловли и 2 березо-

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 16 об.
[2] Там же. Д. 617, л. 114.

вые рощи. Данные ресурсы были рассредоточены несколькими анклавами в Тюменском (деревни Щучья и Космакова, Колугина и Голышева, деревня Балдинская) и Исетском (деревня Ирюмская) уездах[1].

Туринский Николаевский монастырь имел несколько подгородных поселий по речке Елынке в 3 (пашня), 5 (покосы) и 8 (пашня, залежь, покосы) верстах, а по реке Туре (покосы) в 2 верстах от города. Обычно при пашнях строились избы, амбары, клети и другие хозяйственные постройки, хотя, видимо, постоянного населения поселья не имели, а их функционирование носило сезонный характер. В 1744 году при монастыре было 13 душ крестьян, 70 десятин пахотной земли, 40 десятин залежи, сенных покосов на 1000 копен, 2 мельницы и 4 рыбных ловли (не далее чем в 2-х верстах)[2].

Кондинский (Кодинский, Кодский, Коцкий) Троицкий монастырь, получивший начало свое от построенной еще в 1599 году церкви во имя Живоначальной Троицы, возник в вотчине остяцких князей Алачевых в Коде[3]. Собственно монастырь здесь был основан в 1657 году по грамоте Алексея Михайловича. Построен он был

> «толко при сенных и скотских малых выпусках, лесных крупного к строению дровяного и ореховаго лесу угодьях, рыбных при реке одной Обе ловлях, соболиных и всякого зверя промыслах»[4].

Кроме этих угодий, по вышеупомянутой грамоте монастырь получил только «во все четыре стороны по шесть верст», потому как узнать сколько угодной земли в округе «за чащею лесов, великих гор, мокрых болот неможно»[5]. Однако, как и сам монастырь был основан по прошению остяцкого князька Дмитрия Алачева, так и основанные им поселья были созданы по прошению местного инородческого населения. В 60-х годах XVII века игумен Кондинского Троицкого монастыря Макарий с братиею били челом

> «об отводе им порозжей пашенной земли и сенных покосов вверх по Тоболу реке, до Исети речки»[6].

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 19 об.-20.
[2] Там же. Д. 1107, л. 125 об.-127.
[3] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 181.
[4] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 43.
[5] Там же.
[6] Там же. Д. 922, л. 4 об.

Данное прошение было подкреплено рядом челобитных «коцких городков новокрещенных остяков», которые просили «за восприятие крещения», а также «чтобы им остякам было чем при том монастыре прокормится» о даче (а затем и о прибавке) Кондинскому монастырю пашенной земли и крестьян[1]. В 1670 году «строителю» Кондинского монастыря старцу Исаку с братиею была дана выпись из Тобольской приказной палаты о владении им пашенными землями, рыбными ловлями и всякими угодьями вверх по Исети реке[2]. Проведенная в 1679 году приказчиком Мехонской слободы Иваном Иевлевым переписка крестьян исетской заимки Кондинского монастыря выявила за последним уже 50 семей[3].

Активную деятельность по преумножению своих земель развил и архиепископский Софийский дом. За каких-нибудь 20 лет с момента своего основания в 1622 году он приобрел массу земли, устроил три слободы и несколько деревень. Первый сибирский архиепископ Киприан, несмотря на назначенное ему большое хлебное и денежное жалование, уже в 1622 году из Тобольска бил челом государю:

> «Велено мне быть в Сибири в Тобольском городе у Софьи Пр. Божией; а вотчин и крестьян и бобылей у государева богомолья нет… вели, государь, призывати охочих вольных людей с Руси и которые живут в Сибири…»[4].

Кроме того, он просил пожаловать ему луг за Иртышем, да пахотной земли за речкой Курдюмкой, где прежде была государева пашня. Еще раньше, в 1621 году Киприаном была сделана заимка в Тюменском уезде на устье реки Ницы, где поселил 8 семейств крестьян, привезенных с Руси. Это поселение стало началом Усть-Ницынской слободы.

Почти одновременно с Усть-Ницынской слободой Киприан основал и слободу Тавдинскую на реке Тавде. Почва здесь была малоплодородна и хлеба крестьяне сеяли мало. Однако по переписи 1625 года в слободе было уже 16 дворов, а людей в них 22 человека. Переписчик указал, что недалеко от слободы находятся «Тихая Тавда и старая прорва Тавды»[5], где крестьяне имеют рыбные ловли. Видимо

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 922, л. 4 об.
[2] Там же. Л. 5.
[3] Там же.
[4] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 122.
[5] Там же.

это обстоятельство и позволяло при столь слабом развитии хлебопашества сохранять относительно высокую населенность слободы. По переписи 1625 года за архиепископским домом были следующие деревни: а) деревня Комарица на реке Бобровке (7 крестьян); б) деревня Матвеевская на речке Тайменке (1 крестьянин); в) деревня Киселевская на реке Сузгунке (2 крестьянина); г) деревня Безсоновская на речке Тайменке (1 крестьянин).

Деятельность второго сибирского архиепископа Макария показывает сколь сильна была роль субъективного фактора в развитии Софийского дома. При нем вотчина почти не расширялась. Четыре деревни, основанные Киприаном, совершенно запустели, крестьяне разбрелись. Из прочих особенностей деятельности Макария можно выделить полное отсутствие челобитных с его стороны. Дела несколько поправились при следующем архиепископе Нектарии.

В 1641 году тюменского Преображенского монастыря черный поп с братией дали вклад в Софийский дом – свою заимку, находившуюся в Тюменском уезде по нижнему течению Туры за Щучьим озером и за речкой Терентьевой, впадающей в Туру, на 150 дес. пахотной земли и на 500 копен сенных покосов. По распоряжению тобольского воеводы эти земли были отведены и записаны за Софийским домом. Однако когда архиепископ Герасим бил челом государю об утверждении в правах владения той заимкой, государь решил, что Герасим

> «то делает не по делу, что хочет имать в Софийский дом монастырския земли – вклад, ему владеть теми землями, какими владели прежние архиепископы, а до монастырских земель ему нет никакова дела»[1].

Воеводе же государь наказал

> «смотреть бы накрепко, чтобы никто никаких земель архиепископу вновь не давал и архиепископ бы ничьих земель вновь не захватывал»[2].

Тем не менее данная земля все же была утверждена за Софийским домом, так как Герасим успел в 1642 году поселить там 20 семейств бобылей, построить острожек и церковь. Вследствие этого у архиепископа появился веский аргумент в пользу закрепления этой

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 122-133.
[2] Там же. С. 133.

земли за собой[1]. Это поселение дало начало Покровской слободе. История повторилась в 1679 году, когда земля под постройку слободы «вверх Пышмы реки» была отдана воеводой без ведома государя в Тобольский Софийский дом. Своим указом Федор Алексеевич велел эту землю

> «приписать к Верхотурскому уезду по прежнему и поставить на том месте от приходу воинских людей острог и крепости, и быть драгуном, и устроить слободу…»[2].

В своей страсти к земельным приобретениям Софийский дом не мало не стеснялся в желании прибрать к рукам одну из доходнейших зауральских слобод. В 1696 году сибирский митрополит бил челом царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу, чтобы вместо их государева жалования отдать ему Нижне-Ницынскую слободу с землями и крестьянами. Однако ему было отказано

> «для того, что та слобода в Тобольском уезде первая, и хлеба и иных податей сходит не малое число…»[3].

Правительство постепенно вступает, хотя и не очень последовательно, в борьбу с чрезмерной пространственной экспансией зауральских монастырей и Тобольского Софийского дома, ограничивает их право на земельные приобретения, отбирает «излишки» земель и крестьян «на государя безповоротно, безденежно»[4]. Но

> «и при этих условиях монастыри и Софийский дом делают новыя заимки, увеличивают год от году число крестьян и находят средства укреплять за собою противозаконныя приобретения»[5].

Впрочем, последнее было не столь затруднительным: несмотря на серию запретительных указов 7153 (1645), 7156 (1648), 7167 (1659) и 7170 (1662) годов[6], личные просьбы архиепископа и монастырских настоятелей обычно не оставались без удовлетворения.

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 134.
[2] ДАИ, т. VII. С. 353.
[3] ПСЗ РИ, т. III. С. 234-235.
[4] ПСЗ РИ, т. II. С. 175-178.
[5] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 136.
[6] ПСЗ РИ, т. II. С. 175-178.

**Смешанный** тип. «Достраивание» своей поселенческой структуры путем образования отдельных анклавов за пределами вотчины, так называемых *поселий,* являлось характерной чертой пространственной организации ряда зауральских монастырей. Монастыри устраивали хозяйственные поселья, немногочисленное на первых порах население которых состояло из монастырских служителей и работников, как правило, на периферии русского заселения, но богатых объектами промысла или пахотными угодьями. Так, в вотчине Троицкого Рафайлова монастыря, состоящей из четырех деревень (в двух, пяти, шести и десяти верстах от монастыря), после ревизии 1744 года было зарегистрировано 530 душ крестьян. 142 из них были переведены вскоре после ревизии в новую монастырскую заимку – Уковскую, находящуюся в 80 верстах от монастыря[1]. Земли под эту заимку были отведены в 1731 году по челобитью игумена Филиппа с братиею. Необходимость отвода новой земли обосновывалась просителями тем, что

> «при оном Рафайловом монастыре по довольному крестьян населению земли стало недостаточно, к тому ж оные частию и пещаные и от многих мест уже выпахались и для того в прибавок ко оной отведено им пашенной земли, сенных покосов и протчих угодей по реке Уку»[2].

Всего пашенной земли, сенных покосов и лесных угодий отведено было под заимку «на 905 десятин, а вокруг оной земли 28 верст 65 сажен»[3]. Несмотря на столь обширные пространства неосвоенных земель, «в здешней заимке особо деревень не имеется»[4], что объясняется по-видимому недавним переведением крестьян, еще не начавших испытывать недостаток в свободных и годных для возделывания ближних землях.

Начало образования вотчины Тобольского Знаменского монастыря относится к 1612 году[5]. По челобитной строителя Логвина с братией и монастырских вкладчиков – казачьего атамана Ивана Дурыни с товарищами, монастырь получил «на прокорм» Бегишевы горы с пашней, лесом, озерами и хмелевыми угодьями, а также «Вагай

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 13.
[2] Там же. Л. 20.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 120.
[4] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 20.
[5] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 120-121.

со всеми угодьи»[1]. Чтобы округлить свою вагайскую вотчину, прибрести некоторые соседние угодья, которые уже были заняты русскими или татарами, монастырь не стеснялся в средствах – изгонял, вымогал, покупал, при этом после каждого такого приобретения слезно просил государя утвердить эти приобретения

> «чтобы было чем кормиться и им нищим не умереть с голоду, и не разбрестись врозь, и монастырь не запустел бы…»[2].

Смехотворность этих причитаний становится более очевидной, если сравнить владения тобольского монастыря к 1621 году и количество монастырской братии. По дозору Максима Трубчанинова в 1621 году в вагайской вотчине за Успенским монастырем была деревня при устье реки Вагая из 6 дворов, в которых жило 9 семейств монастырских половников. Появляются монастырские дворы с половниками и оброчными бобылями также на Бегишевых горах и на реке Березовке, впадающей в Иртыш. При этом монахи призывали на свои пашни не только бывших в Сибири гулящих людей, но и посылали своих агентов на Русь для вербовки крестьян. За этим монастырем под 1621 год также упоминаются следующие селения, находившиеся за пределами вагайской вотчины: а) деревня против старого сибирского городища; б) деревня Ивановская по речке Шанталыку; в) деревня Шангинская на Иртыше; г) деревня Якимовская на реке Кундуске и, наконец, д) заимка против города. Вся эта поселенческая структура приходилась на 10 (!) человек монастырской братии[3]. К 1642 году, согласно дозорной книге Богдана Аршинского, за Знаменским монастырем на Бегишевых горах около озера было 8 дворов с 27 крестьянами, за Вагаем – 4 двора с 9 крестьянами, на реке Березовке и по Кударовскому увалу – 20 дворов с 49 крестьянами. Всего в вагайской вотчине монастыря было: «дворец» монастырский, в котором жили наемные люди, и 60 дворов половничьих и бобыльских со 133 крестьянами. По этому же дозору за пределами вотчины, кроме вышеупомянутых, находились следующие поселения: е) деревня Юрлова-Третьякова на правой стороне реки Шилей; ж) деревня над речкой Сузгункой; з) деревня Олешкинская; и) деревня Шестакова-Шапошникова; к) деревня Пятовская над озером Евтезереем и л) де-

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 120-121.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 93-101.
[3] Там же. Л. 105 об.

ревня на озере Кугаеве. Во всех этих десяти деревнях и заимке в 1642 году было 27 дворов с 52 половниками и бобылями[1].

Одной из самых обширных и богатых ресурсами вотчин в Зауралье обладал Далматовский Успенский монастырь. Помимо земель, непосредственно примыкавших к монастырю и составлявших его административно-территориальную целостность, он являлся инициатором создания ряда хозяйственных поселий, располагавшихся за пределами вотчины несколькими анклавами. Одно из таких поселий было основано на периферии русского заселения, в предгорьях Урала на речке Железенке (Каменке), давшее начало Каменскому железоделательному заводу. Другое было приобретено монастырем далеко за пределами русского заселения – при впадении реки Уй в Тобол – по челобитной игумена Исаака, по памяти из Тобольской приказной палаты и по отводу приказчика Царева Городища Григория Шарыгина в 1686 году. К 1692 году здесь уже стоял дворец, или поселье, «к водворению рыболовов и для поклажи снастей и рыбы необходимое»[2]. По причине военной опасности население поселья было вооружено двумя мушкетами и двумя карабинами[3].

Поскольку монастырские поселья зачастую шли в авангарде русского заселения, постольку они же первыми вступали в конфликт с экономическими интересами местного населения, а то и были весьма притягательным объектом для нападений различного рода «воровских воинских людей». Так, в 1733 году в уже упомянутом выше Уйском поселье Далматова Успенского монастыря

> «на Тобольском рыбном промыслу Казачьей ордой застрелен монах Порфирий, дворец разграблен, один служитель монастырский убит»[4].

Вследствие этого, начинали проявляться в полной мере те затруднения связей, которые характерны для дискретных и смешанных типов административно-территориальных целостностей. В указе Ее Императорского величества самодержицы всероссийской из Исетской провинциальной канцелярии от 12 марта 1742 года на доношение архимандрита Успенского Далматова монастыря Сильвестра с братиею об отпуске монастырских крестьян для рыбного и хмелевого

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 106.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 173 об.
[3] Там же.
[4] Там же. Л. 29.

промысла вверх по Тоболу реке велено было их отпустить и о пропуске дать паспорт,

> «ибо по нынешним известиям важных опасностей от киргис кайсаков и других степных народов неслышно»[1].

Вместе с тем, было повелено на промысел отпускать компанией не менее 50 человек с исправным оружием,

> «и чтоб оные будучи на тех промыслах с промысла на промысел малыми людми отнюдь не переезжали, дабы таким переезжавшим в малолюдстве киргис кайсаки нечаянными подбеги какого вреда не учинили, как уже то в прошлом 741 году на тех промыслах киргис кайсаками от их мужичьей неосторожности и слабости чинено и было, и того ради ездили б неменее человек десяти и всегда б ружье имели при себе, и лошадей бы отнюдь без доволного караулу не опускали, а по ночам держали накорму в руках, а ежели от их оплошности киргис кайсаками какой учинитца вред, то впредь уже и на оброчные места опускатца не будут…»[2].

Таким образом, дискретные и смешанные типы поселенческих комплексов, в отличие от комплексов целостного типа, имели возможность освоения богатых самыми разнообразными ресурсами земель[3]. Однако за такую возможность приходилось платить. Внешние обстоятельства (военная угроза) и/или административные фильтры (необходимость паспортов, злоупотребления местных властей на линиях коммуникаций между монастырскими анклавами) снижали связность структуры монастырских вотчин дискретного и смешанного типов, делали наличие удаленных поселий малорентабельным и, в целом, способствовали их будущему отпадению.

Некоторое представление об издержках, с которыми была сопряжена коммуникация монастыря и его поселий, дает следующий пример. В начале 70-х гг. XVII столетия архимандрит Верхотурского Никольского монастыря Варлаам обратился с челобитной о запрещении приказчикам Пышминской и Ницынской слобод задерживать

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 248, л. 12.
[2] Там же.
[3] Исключением можно считать наличие промыслового поселья у крестьян Маслянской слободы в верховьях Тобола.

монахов и крестьян, едущих в монастырскую деревню на реке Пышме[1].

Впрочем, не все монастыри (особенно заштатные) могли позволить себе иметь не только отдаленные поселья, но даже вообще сколько-нибудь обширные вотчины. Так, Тюменский Успенский девичий монастырь по ревизии 1744 года имел всего лишь 10 душ крестьян, 19 десятин пахотной земли (по сибирским меркам этого было достаточно только для одного человека), сенных покосов на 500 копен, 1 мельницу и 1 рыбную ловлю[2].

Тобольский девичий Успенский монастырь вообще не имел никаких вотчин. Хотя вагайские земли были пожалованы еще бывшему совместному Успенскому монастырю и вкладчики давали свои деревни и пашни «Успению Пресвятой Богородицы и Николаю Чудотворцу», но после того как архиепископ Киприан «развел» старцев и стариц, первые, поселившись в Знаменском монастыре, не оставили девичьему монастырю ни земли, ни крестьян. В 1653 году архиепископ Симеон писал государю в челобитной, что «старицы девичьего монастыря 80 и больше питаются Христовым именем меж дворами» и просил о даче им земли[3].

Приписанный к Тобольскому архиепископскому дому Иоанновский Межигорский Предтечиев монастырь, не имея вотчин, пользовался архиепископской землей (191 десятин пахотной земли и 107 десятин сенных покосов), а также имел рыбную ловлю на Иртыше «против монастыря». Это позволило ему обеспечивать себе содержание «во всех церковных “требах”», что, в свою очередь, помогло ему «пережить» в 60-х годах XVIII века массовое упразднение заштатных монастырей, не имевших средств к своему содержанию[4].

*2002*

## 5.4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Феномен пойменного (долинного) заселения и сопряженное с ним отсутствие крупных поселений на водоразделах, даже при всех необходимых к заселению условиях (в южной части Зауралья), могут быть отчасти объяснены и особенностями формирования локальных

---

[1] РГАДА, ф. 1111, оп. 2, д. 191, л. 86-89.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 32 об.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 121.
[4] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1082, л. 2.

территориальных целостностей. Мы имеем в виду систему распределения земельных и иных угодий между крупными поселениями, информация о которой содержится в наказных памятях и жалованных грамотах. Суть данной системы, показанная в основных чертах в наказной памяти об основании Иковской слободы, состоит в том, что крупные населенные пункты получали земли в форме полос как бы «нанизанных» на русло реки. Сами поселения находились в пойме, а часть пашен, «лишние земли» и «всякие угодии» располагались длинными полосами по обе стороны речной артерии, что позволяло находившимся слишком близко друг от друга слободам и острогам не испытывать «утеснения». Так, Иковская слобода, построенная

> «вверху по Тоболу реке на проезжей земле, промеж слободы Белозерские слободчика Стенки Нестерова да промеж слободы Царева Городища слободчика Тимошки Невежина»[1],

не «утеснила» соседние поселения, поскольку

> «в Белозерской слободе пахотных земель будет на тридцать верст с сенными покосы и со всякими угодии, и за рекою Тоболом столкож верст; а в другой слободе Царева Городища пашенных земель со всякими угодьями и с сенными покосами будет верст на тридцать же…»[2].

В начале XVIII века в челобитной строителя Селиверста с братиею из Верхотурского Невьянского Богоявленского монастыря монахи жалуются на несправедливость межевого раздела и «обиды» от жителей Пышминской слободы:

> «а сверх же межи и чертежу в их пышминские крестьянские земли они не въезжают и им крестьянам и беломестным казаком земель и сенных покосов кроме их монастырских земель многое число в длину будет верст на сорок и больше, а поперег верст на пятнадцать и больши, и на тех де землях и сенных покосах им крестьяном и беломестным казаком пашни пахать и сена косить и вновь селитца можно и пространно и есть где, а у них де монастырских пашенных и непашенных земель и сенных

[1] ДАИ, т. VII. С. 361.
[2] Там же.

покосов и скотского выпуску… только явилось длиннику на 8 верст, а поперег на полверсты и на четь версты…»[1].

Там, где земельная теснота еще не давала о себе знать, земля отводилась с более или менее компактными очертаниями, но, в любом случае, по обе стороны речной артерии. При заводе Белоярской Теченской слободы в 1682 году

«под слободу и под пашни и под сенные покосы земли отведено по обе стороны Течи речки вдлину на 10 верст, а поперег с тож число…»[2].

Схожие очертания, даже более вытянутые вдоль речных артерий, имели отводные земли Адбашский и Вагайский остроги[3]. Информация о подобной системе распределения земель (за счет междуречных пространств) содержится и в целом ряде других источников о наделении землей вновь образуемых поселений. Одним из этих источников является царская жалованная грамота Далматову монастырю от 1659 года. По ней монастырь получил широкую полосу земли, тянущуюся по обе стороны реки Исети с юго-запада на северо-восток. Владения монастыря простирались от Казанской дороги и Алят озера на севере до места расположения будущей слободы Верхтеченской и верховий речки Крутихи на юге. Собственно пойменные приисетские владения монастыря были не столь обширны – от «Высокаго Сосноваго Яру» (деревня Черноярская) «до усть Крутихи речки»[4]. Как писал Г.С. Плотников:

«Вотчина Далматова монастыря походила на четыреугольник, в котором противоположно лежали два тупых, и два острых угла; боковыя черты то сближались, то одна от другой значительно отделялись. Она склоняясь от севера к югу на 60, от запада к востоку на 20 верст, помещалась на 1 200 верстах квадратных…»[5].

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 15 об.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 22 об.
[3] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 10.
[4] **Плотников Г.С.** Описание мужского Далматовского Успенского общежительного монастыря. – Екатеринбург, 1906. – С. 12.
[5] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 130-131.

По тюменской данной 1657 года и по писцовым книгам в Троицкий Рафайлов монастырь было отведено по обеим сторонам реки Исети

> «с пашенными землями, сенными покосами и боровыми лесами и всякими мокрыми и кочковатыми местами в длину прежних тысячных на 10, а поперег на 4, на 3 и на 2 версты…»[1].

Некоторые данные позволяют предполагать хронологически более раннюю и пространственно более широкую распространенность данной системы наделения угодьями в пределах Зауралья. Так, в уже упомянутой нами выше наказной памяти об основании Иковской слободы приводится факт в «утешение» притобольным слободам, подвергшимся уплотнению:

> «а по Нице реке слободы верхные: Ницынская, Чубарова, Кирга и Ирбит строились слобода от слободы по семи верст»[2].

Указанные слободы уже во второй половине XVII века являлись густонаселенными:

> «Сжатые в своем стремлении к разуплотнению соседними ясачными волостями или русскими же слободами, они испытывают земельную тесноту, распределив между дворохозяевами весь наличный земельный фонд»[3].

Статистические и картографические данные также свидетельствуют о часто весьма незначительных расстояниях, отделявших одно крупное селение от другого. Только рассматриваемая нами система распределения угодий может объяснить возможность столь плотного заселения.

По нашему мнению, именно данная система могла входить в число основных факторов, сдерживавших возникновение крупных населенных пунктов на территории водоразделов. Формирование локальных территориальных целостностей происходило под доминантным влиянием мнения о пойменных пространствах как наиболее

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 101.
[2] ДАИ, т. VII. С. 361.
[3] **Шунков В.И.** Указ. соч. С. 82-83.

предпочтительном месте заселения и хозяйственной эксплуатации. Поскольку ряд обстоятельств способствовал образованию, как правило, крупных населенных пунктов в авангарде заселения, постольку большая часть пойменных территорий оказалась в зоне хозяйственных интересов крупных поселений уже на первых этапах колонизации. Относительно высокая плотность заселения пойм и прогрессирующая нехватка добываемых здесь ресурсов и привели к возникновению локальных территориальных целостностей в форме полос, что в хозяйственном отношении позволило вовлечь в оборот обширные пространства междуречий, не создавая там при этом крупных поселений. Впоследствии данные соображения легли в основу устойчивой практики наделения землей за счет водоразделов даже при отсутствии непосредственной тесноты в использовании пойменных территорий.

Земли, отведенные согласно рассматриваемой системе крупным населенным пунктам, часто весьма значительно вклинивались вглубь водоразделов. В связи с этим, на близлежащих территориях междуречий практически не оставалось свободных мест для образования новых крупных поселений. Во всяком случае, находить порожние земли, не отведенные еще той или иной слободе или монастырю, становилось все труднее. Примером такого завода является основание Тамакульской слободы. Верхотурской Красноярской слободы беломестный казак Иван Лоскутников и пашенный крестьянин Василий Пушинцов подали в 1686 году челобитную в верхотурскую приказную избу и воеводе о найденном ими за Пышмой у Атяша озера пустом порозжем месте со всякими угодьями, годном под слободу. По досмотру верхотурского боярского сына Степана Головкова оказалось, что

> «вблизь того места слобод нет, а Красноярская слобода верст 20 и болши, а от Камышевской слободы верст с 30, а от тоболского уезду Буткинской слободы верст 20 же, а от Пышминские слободы верст с 30 и болши…»[1].

Вместе с тем, не всегда показанная первоначальным доездом «порозжей», земля, отводимая под слободу или монастырь, оказывалась действительно таковой. Не числящаяся ни за кем де-юре, де-факто она оказывалась зоной экономических интересов тех или иных лиц. Так, вскоре после отвода тобольскому монастырю земель по Вагаю оказалось, что

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 21 об.-22.

«тобольские дети боярские и всякие служилые люди и государевы пашенные крестьяне многие те монастырские земли отымают силно, пашни пашут и сена косят…»[1].

Во время начального устройства Беляковской слободы на Пышме в 1648-1650 годах устроители ее столкнулись с жестким противодействием ряда заинтересованных лиц:

«…Тюменского же города сын боярской Сергей Ушаков, да посадцкой человек Семейка Степанов, да толмачи Степанко Трубачев, Тимошка Микитин, да Юртовской служивой Татарин Мургач Малтмасов, да ясачной Татарин Адарко Стенислыбаев, не хотя нам прибыли, а их пашенных крестьян на том новом месте видеть, угрожают ему Максимку и крестьяном изгоном… и смертным убойством и всяким разореньем, и хотят де их с того нового места сослать…»[2].

Только по-настоящему прибыльная и, по всей видимости, промысловая эксплуатация ресурсов данной территории могла создать столь пеструю компанию, и даже подвигнуть ее на организованное сопротивление объявившимся конкурентам.

Еще более очевидный пример неэффективности первоначального досмотра земель представляет история образования вотчины Далматова монастыря. По свидетельству Г.С. Плотникова, территории правобережья Исети

«прежде [по первоначальному отводу 1651 года, закрепленному царской грамотой от 17 мая 1659 года – В.П.] были прирезаны, при досмотрах и отмерах меж, в состав вотчины… и считалися пустынными»[3].

На самом деле, земля эта принадлежала на правах вотчины тюменским служилым татарам. Ситуацию осложняло то обстоятельство, что последние сдавали в аренду свои промысловые угодья ирбитцам и невьянцам, что значительно усилило сопротивление созданию монашеской пустыни. Острый конфликт, возникший в результате

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 70, оп. 1, д. 1[1], л. 20.
[2] ДАИ, т. III. С. 152.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 135 об.

этого, удалось разрешить лишь в 1665-1669 годах, когда монастырь получил с тюменского татарина Емельдала Бурашева и его товарищей две закладные, по которым угодья и земли по ту сторону Исети, от Красного Яру до устья речки Крутихи и вверх по Тече до Белого Яру (впоследствии слобода Теченская), переходили в безраздельное владение пустыни[1].

Помимо того, что в развитой поселенческой структуре ощущалась нехватка свободных территорий под новые комплексы, земли уже существующих слобод и монастырских вотчин не всегда могли предоставить своим жителям полный набор угодий, не всегда к тому же равнозначных по своим количественным и качественным показателям. В этой связи можно было ожидать самовольных, либо каким-то образом санкционированных попыток перераспределения ресурсов за счет земель соседних территориальных целостностей. Там, где такие попытки были сопряжены с неупорядоченностью межевого раздела, перераспределение ресурсов выливалось в длящиеся годами, а иногда и десятилетиями, межевые тяжбы. Там же, где земельные претензии не могли быть обоснованы, а следовательно, и удовлетворены, использование ресурсов соседних земель требовало своего подтверждения либо административными санкциями, либо договорными отношениями между «донором» и «реципиентом». Если это по каким-либо причинам было невозможным или невыгодным, последнему оставалось уповать на свой напор и агрессивность, рискуя, однако, встретить столь же сильное сопротивление со стороны первого или власти. Рассмотрим эти случаи в их конкретном проявлении.

Помимо межевых споров, вызванных ошибками, свойственными вербальному способу отображения межевой информации (когда один и тот же географический объект имел различные наименования или, наоборот, когда разные объекты имели одно наименование в межевых документах), возникали споры и из-за недобросовестного межевания. Так, при межевании спорных земель между Калиновской слободой и Новопышминским острогом, межевщик Василий Турский

> «отмежевал земли под Калиновскую слободу близь Новопышминского острогу и у многих их братьев крестьян он Василей отмежевал под Калиновскую слободу пахотные земли и с насеянными хлебы и сенные покосы…»[2].

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 135 об.

[2] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 16 об.

Практика подкупа межевщиков имела, по всей видимости, широкое распространение, что вызывало поток челобитных от «обиженных» и не могло не вызвать определенной реакции со стороны администрации. Главным образом это выразилось в наказах межевщикам. В одном из них (межевщику Ивану Астраханцову) говорилось:

> «…и по розыску те земли размежевать самою правдою не для взятков, чтоб в том никто из них изобиден не был и в том бы челобитья от них друг на друга, также и на тебя не было б…»[1].

Как и в случае с межевыми спорами, в «захватной» практике можно выделить основных «действующих лиц» подобного рода земельных конфликтов в Зауралье. И снова, как правило, одним из них становится монастырская вотчина. Обилием документов характеризуются отношения Верхотурского Невьянского Богоявленского монастыря и соседних с ним слобод – Новопышминской и Ницынской.

В самом начале XVIII столетия настоятель Невьянского Богоявленского монастыря Селиверст с братиею жаловался в своей челобитной на новопышминских крестьян, которые «насильством» покосили их монастырские луга у речки Кунара и озера Куртугуз. Поскольку последнее было ранее отдано крестьянам в оброк, воеводская власть распорядилась накошенное сено разделить поровну. Однако, как свидетельствует настоятель, мало того, что крестьяне свезли себе большую часть сена, они еще и скот монастырский поморили. В ответной челобитной крестьяне указали, будто монастырского села Покровского крестьяне в их Новопышминской слободы чертеже на зверей и птиц промышляют, ямы для лова зверей копают, и скот их крестьян туда падает. Те, в свою очередь, оправдываются, что все это делают в дальнем от слободы расстоянии («верст на тридцать»). Монастырь выступает с новыми обвинениями, что

> «они крестьяне к ним приметываются, и хотят их изгонить напрасно и на Кунаре реке они крестьяне мелницы ставят и сенные покосы мелнишными своими прудами топят, и через монастырские земли по хлебным севам для изгони своей ездят и хлебы насеяные топчют»[2].

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 27.

[2] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 15-17.

Дело дошло до того, что крестьяне переполненной Новопышминской слободы с 1690 года начали открыто селиться на территории монастырской вотчины[1].

В начале 40-х годов XVII столетия архимандрит Тобольского Знаменского монастыря Тарасий жаловался в своей челобитной царю Михаилу Федоровичу, что отвели ему в вотчину реку Вагай и Бегишевы горы со всякими угодьями, а

> «тобольские де дети боярские и всякие служилые люди и наши [т.е. государевы – П.В.] пашенные крестьяне многие те монастырские земли отымают, [на]сильно пашни пашут и сено косят»[2].

На несколько десятилетий растянулся земельный спор между Далматовским Успенским монастырем и Катайским острогом. Как писал Г.С. Плотников, представлявший точку зрения монастыря,

> «атаман и казаки [основатели Катайского острога – В.П.], поместившись на новоселье без слободской памяти, без досмотру урочищ и меж впусте там лежавшим пахотным и луговым землям, даже в вотчине монастыря сеяли хлеб, косили сена, ловили рыбу, рубили леса хоромныя и дровяныя, а при впадении в Течу речки Шутихи селиться начинали уже и домами»[3].

В один из периодов обострения этого конфликта в 1685-1686 гг. была предпринята попытка административного решения проблемы путем доведения до сторон спора документально закрепленного межевого разграничения:

> «…и велено о тех монастырских наволоках великого государя грамоту и тобольскую отводную память Катайского острогу прикащику Михаилу Тыркову дать досмотреть и с той грамоты и с памяти ему ж Михаилу велено дать списки впредь для спору, а им катайским казакам и кре-

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 16.
[2] Там же. Ф. 70, оп. 1, д. 86, л. 11.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 130.

стьяном в монастырские наволоки и в угодья за межу нипочто ходить не велено»[1].

Впрочем, не всегда монастырь оказывался в качестве потерпевшей стороны. Дознание, проведенное в 1665 году по факту жалобы о сборе хмеля в наволоках Далматова монастыря жителями Катайского острога, выявило самовольность отмежевания указанных наволоков в монастырское владение старцем Далматом. В результате этого расследования Далмату было запрещено владеть без указа наволоками по Исети[2].

К моменту стабилизации поселенческой структуры, связанной с отсутствием свободных для экспансии территорий, нехватка тех или иных ресурсов вызвала лавинообразное нарастание захватных тенденций. Объекты проявления этих тенденций оказываются едва ли не на осадном положении. Правда, не всегда такое положение вызывалось объективными фактами. Так, в 1717 году архимандрит Далматовского Успенского монастыря Исаакий напрямую обращается к сибирскому губернатору кн. М.П. Гагарину с жалобой, будто

> «в их монастырских землях и в межах владеют землею и всякими угодьи и дворами селитца начинают Катайского острогу и Белоярские Теченские, Крутихинские, Верхотурского уезду Тамакульские слобод крестьяне…»[3].

Посланный для разбора этого дела тобольский дворянин Степан Фефилов должен был учинить новые межи по всему периметру монастырской вотчины в соответствии с указами, грамотами и данными на земли как самого монастыря, так и окрестных слобод. В результате этого межевания архимандриту в его жалобе было отказано, как не имеющей реальных оснований[4].

Иногда только административное вмешательство могло сколько-нибудь ослабить накал земельных конфликтов. Конфликт между Невьянским Богоявленским монастырем и Новопышминской слободой, о чем говорилось выше, был частично разрешен административным вмешательством. По сути, это решение официально утверждало захваченные земли за слободой,

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 922, л. 146 об.-147 об.
[2] РГАДА, ф. 1111, оп. 2, д. 128, л. 133-134.
[3] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 23.
[4] Там же. Л. 24-26.

«а в Невьянской монастырь, вместо тех земель на которых они пышминские крестьяне и казаки поселились и владеют, велено дать тоже число из порожжих земель где они приищут»[1].

Вообще очень часто монастыри вынуждены были приискивать себе свободные земли в случае каких-либо земельных споров, даже при наличии у них всех прав на оспариваемые земли. Фискальные интересы государства конечно же не могли быть поставлены в зависимость от экономических интересов монастырей и церковного института в целом. Хотя и в этом случае последние не всегда терпели какой-либо убыток, но старались использовать создавшееся положение для увеличения и упрочения своего состояния. Когда земли и угодья Тобольского Софийского архиепископского дома, лежавшие близь города на Панином бугре, на Княжьем лугу и деревнях Протопоповской и Михайловской, были взяты под городской скотский выгон,

«нашли, что вместо сей земли с выгодою принять можно землю порозжую вверх по реке Миясу, от речки Окуневки по обе стороны реки Мияса, пахотныя места и сенные покосы, и с речки и озеро Боровлянское с рыбными ловлями и хмелевыми угодьи»[2].

В 7167 (1659) году старец пустыни Богоявленского монастыря Давид с братиею, указывая, что «по Исете реке рыбные ловли на пропитанье монастырю Шадрина курья по речку Крутиху и те де рыбные ловли у них взяты на великие государи и по слободы», и что ныне они рыбными ловлями не пожалованы, просили отдать им Ирбитское озеро[3].

Иногда нехватка ресурсов компенсировалась за счет соседних земель по взаимной договоренности сторон при содействии органов власти. Так, опись имущества Троицкого Рафайлова монастыря, проведенная в 1763 году, показала, что в оном монастыре

«поверстных лесов и заповедных рощ да и никакого как на хоромное строение сосноваго, так и на дрова матераго березоваго кроме самого мелкого и на построение хо-

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 1107, л. 16.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3243, л. 157.
[3] РГАДА, ф. 1111, оп. 1, д. 40, л. 21-22, 122-124.

ромное негоднаго неимеется, а получает как на казенное монастырское строение и поделки сосновой, а на дрова березовой: так же и крестьяне про себя довольствуются оным из отводу Исецкого острогу»[1].

Так же при строительстве Красномысской слободы в наказной памяти от 30 июня 1674 года было указано, что

«для строения острожного и церковного и всяких жильцов дворового леса возить из за Исети реки з бору ис чертежу Шадринской слободы…»[2].

*1998-1999, 2002*

[1] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 103.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3223, л. 1.

# 6. КОЛОНИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЯЗНОСТЬ)

## 6.1. ФИЛЬТРЫ НА ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЯХ

Существование (воспроизводство и развитие) отдельных поселений зависит от их способности к ресурсному самообеспечению или/и от потребности поселенческой структуры в наделении их той или иной ролевой функцией. Положение, справедливое для отдельных поселений, может быть применимо и по отношению к поселенческим массивам различных уровней. Правда, в этом случае условия, определяющие само существование таких массивов, будут зависеть не столько от свойств поселений их составляющих, сколько от наличия и эффективности связей между ними. Иначе говоря, именно коммуникации определяют степень выраженности функциональной дифференциации тех или иных сегментов поселенческой структуры.

Русское присутствие в Сибири первоначально мыслилось лишь в связи с исполнением определенной ролевой функции (защита, расширение и административное упорядочение сферы русских экономических интересов за Уралом). Ресурсное обеспечение этого присутствия было возложено на население определенных областей в метрополии (Поморье, Пермь, Казань). На протяжении почти столетия русское население Сибири зависело от эффективности коммуникаций между метрополией и колонией.

Однако даже эта столь важная для колонии связь была воспринята предприимчивой государевой казной в качестве дополнительного источника государственных доходов. Начинается длительный процесс воздвижения на пути из метрополии в колонию различного рода фильтров. Первым значительным шагом этого процесса стало ограничение дозволенных транспортных путей. С начала XVII столетия почти единственным дозволенным путем в Сибирь стала Бабиновская дорога. Пользование другими дорогами было либо тайным, либо вызывало необходимость особого дозволения государя.

В 1619 году в Мангазею была послана государева грамота (подтвержденная в 1621 году) о запрете поморских городов торговым и промышленным людям ходить морем в Мангазею с дозволением ходить только через сибирские города[1]. Этими же грамотами, однако, был разрешен северный, «чрезкаменный» путь – через Березов на р. Вымь. Ранее лишь особым дозволением государя разрешались по-

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 305.

ездки в Москву прямой дорогой на Вымь кодским князьям Алачевым, Игичею и Григорию, соответственно в 1600-м и 1602-м гг.[1] В 1704 году был установлен запрет ездить в Сибирь и обратно «кроме Верхотурья иными дорогами», в связи с чем был закрыт северный путь – через Березов и Обскую заставу. Это запрещение было подтверждено указом от 27 мая 1722 года[2].

Впрочем, вряд ли эти запретительные меры были сколько-нибудь действенны. Мало того, что находилось много обходных путей этим запретам (в прямом и переносном смыслах), власть показывала иногда поразительную неосведомленность об этом. Только в конце 1607 года царской грамотой в Березов повелевалось

> «проведати и досмотреть и распросить русских торговых людей, остяков и самояди: в котором месте у пустозерцев поставлен Роговой городок дле торговли и сколь далече от Березова и от Обдора до того Рогового городка ходу водяным и сухим путем… и для чего, без нашего ведома, пустозерцы мужики воровством городок поставили и с самоедью торгуют и нашу десятую пошлину крадут, а в Носовом городке заставу объезжают...»[3].

В царской грамоте 1684 года на Верхотурье читаем:

> «В прошлых давных годех по Сибирской дороге на Верхотурском волоку, опричь Ростесу, иных никаких Руских деревень не было, и из Руских городов в Сибирь, также и из Сибирских городов в Руские городы беглым и никаким прохожим людем проходить было нельзя, потому что на том Верхотурском волоку по Сибирской дороге было все пусто и нигде тем прохожим и беглым людем пристанища не было… А ныне ведомо нам великим государем учинилось, что на Верхотурском волоку поселились многие деревни, а какова чину люди и по какому указу селятца, того в Сибирском Приказе не ведомо…»[4].

Все чаще, однако, ситуация требовала наличия более широкого набора легальных коммуникационных линий, а задачей администра-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 181, 203.
[2] Там же. С. 648.
[3] Там же. С. 235.
[4] ДАИ, т. XI. С. 258.

ции становилось сведение к минимуму различного рода барьеров (главным образом административных) на пути стихийно складывавшихся обменных связей метрополии и колонии. Понимала это и власть. Так, в 1600 году тюменский воевода отписывал уфимскому о позволении местным инородцам пользоваться старой Казанской дорогой:

> «И велети бы уфинским башкирцам… со всякими товары и с лошадьми на Тюмень торговати ездить безстрашно. А путь, господине, от Уфы на Тюмень ближний сухой. А я, господине, тюменским служивым и волостным татарам по государеву указу позволил ездить на Уфу и в Уфинский уезд в волости со всяким товаром»[1].

Царь Борис Федорович писал 11-го мая 1604 года туринскому голове Ивану Лихареву:

> «Слух нас дошел, что ходят в Туринской острог казанские татаровя и черемиса и чуваша с животиною, с лошадьми и с коровами, и с них де емлют нашу десятую пошлину, и в том де им чинится продажа и убытки великие, и вперед в Туринской острог с животиною ходить не хотят. И мы казанских татар и черемису и чувашу, которые ходят в Туринской острог с животиною торговати, пожаловали, пошлины с животины имать не велели, а велели им торговать животиной безпошлинно»[2].

В это же время в Тюмени сложилась угрожающая ситуация с государевой запашкой из-за падежа скота. По государеву указу в Казань

> «велели купить 300 быков и велели отослати в сибирские города для пашни. Да и с Казани ж и со всех подниговных городов велели есмя татаром и черемисе итти в сибирские городы со всякой животиной… и мы с них пошлин никаких имать не велели»[3].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 187.
[2] Там же. С. 214.
[3] Там же. С. 218.

Снижение сопротивления экономическим связям метрополии и колонии могло быть обеспечено и запретом злоупотреблений местных властей по отношению к торговым и промышленным людям из Поморья. В государевой грамоте от 30 июня 1624 года в Тобольск следует:

> «…а нашу пошлину с тех торговых и с промышленых людей со всяких товаров велел имати по прежнему нашему указу по прежним грамотам, а лишних пошлин с их товаров по сибирским городом воеводы и приказные и служивые люди не имали и насильства и обид тем торговым и промышленым людем по городом не чинили и ни за чем их не задерживали, чтоб тем торговых и промышленых людей от сибирсково ходу не отогнать»[1].

Если в чрезвычайных обстоятельствах власть еще шла на определенные уступки, связанные с потерей ею некоторых фискальных выгод перед лицом более неблагоприятных последствий, то в стабильной обстановке начинался обратный процесс. Так, некоторые стихийно складывающиеся линии сообщения не «вписывались» в планы колониальной администрации, а использование их подлежало административному ограничению. В 1627 году таможенные целовальники Туринского острога подали челобитную на государево имя, где писали, что

> «стала де вновь проезжая большая дорога Тюменским уездом на Ницу на Красную слободу да Туринским уездом на Чюбарово городище, и тою де дорогою проходят всякие люди на Русь и с Руси в Сибирь, и рекою Ницею с Верхотурья вниз и Ницею вверх проплывают мимо Чубарова городища, а в Туринском не являютца, а наперед сего на те слободы теми месты дороги не было, и торговые и гулящие и ыные люди тою дорогою никто не езживал, и государева таможенная пошлина збиралась с прибылью... а ныне торговых и промышленных людей ездит с Руси в Сибирь немного мимоездом, а в Туринском не торгуют; и в том в Туринском в государеве казне чинитца великий недобор»[2].

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 367.
[2] Там же. С. 389.

Чубаровскому приказчику было повелено, чтобы торговые и промышленные люди

> «тою новою дорогою на Ницу в Ницынскую слободу и на Чубарово городище не ездили, а ездили б вперед против прежнего на Туринский острог»[1].

По всей видимости это распоряжение имело очень незначительный эффект. В наказной памяти туринского воеводы В. Корсакова чубаровским таможенным целовальникам четыре (!) раза повторено, чтобы

> «всякие люди мимо Чюбарова дороги не накладывали, ездили б на Туринской острог»[2].

Упорядочивание информационно-вещественных потоков выражалось также в стремлении разделить на сегменты свою подконтрольную территорию как в интересах административного управления, так и в интересах фискальных. На всех окольных путях были учреждены заставы и караулы, требовавшие от всех проезжающих «проезжих грамот» – удостоверений об уплате таможенных сборов. Так, с проложением Бабиновской дороги

> «по ней в разных местах устроены были караулы с таможнями, около которых к концу царствования Михаила Федоровича образовались небольшие поселки крестьян, из которых впоследствии разрослись значительныя села. Таких караулов на новой дороге было три: первый построен был на реке Ляле на том месте, где новая дорога пересекала эту реку; второй при пересечении тою же дорогою реки Павды, впадающей в Лялю; третий под названием “Ростес” поставлен по бабиновской дороге, на горах, которыя отделяют Сибирь от России»[3].

Из трех таможенных караулов, поставленных по бабиновской дороге, возникли крупные села – Караульное, Павдинское и Ростес. Подобное происхождение имели Чусовская слобода, возникшая на месте караула по Чусовой дороге, и Кошайское село, образовавшее-

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 390.
[2] Там же. С. 392-393.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 53.

ся из Кошайского караула[1]. В 1684-1685 годах с Верхотурья посылали на караул для застав на Лялю, на Ростес и на Кошайский «звоз» три человека стрельцов[2].

Небольшие острожки с подобными же функциями были поставлены на основных северных путях нелегального проникновения русских промышленных и торговых людей в Сибирь. Один из них был поставлен в 1624 году на волоке между речками Мутной и Зеленой на морской дороге, шедшей через Карское море на указанный волок и далее в Обскую и Тазовскую губы. На время от разлива рек до заморозков сюда направлялись два десятка служилых людей с Березова и Тобольска. В 1618 году была поставлена Собская застава на волоке у реки Собь, на речной дороге, шедшей через речку Усу, приток Печоры, речку Елец и затем через указанный волок в реку Собь, впадающую в Обь. Почти против нее на правой стороне устья Оби при речке Полуе еще в царствование Федора Ивановича построен был острожек Обдорск, или Носовой городок.

> «В течение трех летних месяцев, т.е. когда возможен был водный путь, на этих двух заставах сторожили таможенные головы, а по окольным местам с тою же целью последние разсылали служилых людей. В другое же время путь здесь был невозможен»[3].

Еще одна застава – Киртасская – была поставлена на водной дороге, о которой правительство долгое время не имело никаких сведений. Она шла из-за Урала на реку Киртас, приток Сылвы, а оттуда через Сосьву в Обь. Только во второй половине царствования Михаила Федоровича тобольские и березовские воеводы начали посылать сюда в летнее время служилых людей для наблюдения за проезжими людьми[4]. В начале XVIII столетия, в связи с полным запрещением иных путей, кроме как через Верхотурье, данные заставы были упразднены.

Подобного рода заставам и караулам иногда приходилось исполнять и не вполне обычные, но сущностно им свойственные функции. Так, из-за возникшего в 1656 году в Казани «посещением Божиим» «мороваго поветрия» верхотурский воевода Иван Хитрово отписывал тобольскому воеводе кн. Алексею Буйносову:

---

[1] Там же. С. 54.
[2] ДАИ, т. XI. С. 267.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 175-178.
[4] Там же. С. 178.

«…и чтоб по государеву указу послать мне с Верхотурья на Казанские дороги, которыми дорогами из Казани ездят на Верхотурье и на Тюмень и в Тоболеск и в иные Сибирские городы всякие люди, Верхотурских детей боярских и служилых людей добрых, и учинить по всем Казанским дорогам заставы крепкие, и велеть на тех заставах заставщиком жить с великим береженьем, и из Казани и из Казанского уезду и из иных Понизовых городов, где моровое поветрие, на Верхотурье и на Тюмень и в Тоболеск и в иные Сибирские городы, сухим и водяным путем и степными дорогами, никаких бы людей не пропускали, и отписок никаких у них не имали, и близко с ними не сходились»[1].

Эта эпидемия чумы 1654-1657 гг., ставшая самой страшной за период XVI–XIX вв., унесла жизни более половины всего населения центральных уездов Европейской России[2]. Отсутствие сколько-нибудь явных признаков проявления этого заболевания в Сибири отчасти, видимо, можно отнести и за счет существования дополнительных внутренних фильтров. Таким образом, существование внутренних преград имело не только отрицательное значение в качестве дезинтегратора внутрисоциальной целостности, но и служило действенным механизмом по защите этой целостности в результате возникновения очагов опасной информации внутри самого социума.

*2002*

## 6.2. ФИЛЬТРЫ НА ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЯХ

Знание, пусть даже стихийное, о серьезной зависимости социального организма от эффективности коммуникационных линий должно было с большой долей вероятности детерминировать стремление к использованию этого знания для ослабления противника. В самом простом случае можно было прервать или сделать неэффективными его коммуникации с целью затруднить ему исполнение роли или обеспечение его ресурсом.

Территория Зауралья (по крайней мере, южная и центральная его части) издавна входила в зону проявления жизненных интересов кочевых степных народов. Оседлая, земледельческая или промысловая окраина кочевого мира традиционно являлась объектом набегов

[1] ДАИ, т. IV. С. 86-88.
[2] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 24.

со стороны кочевников. Цель их состояла, как правило, в ресурсном обеспечении. И если их оседлые соседи присваивали эти ресурсы у природы, то кочевники присваивали их у своих соседей. Кстати, такой же характер носили и набеги кочевых обдорских самоедов-оленеводов на своих оседлых соседей – вогулов, остяков, русских[1]. Многочисленные данные позволяют с полным основанием утверждать о существовании особого вида освоения – кочевого, где оседлая окраина воспринималась почти исключительно в качестве источника тех или иных жизнеобеспечивающих ресурсов.

Кочевое освоение либо оформлялось теми или иными отношениями подданности (например, уплатой ясака), либо (при невозможности такой договоренности) осуществлялось в виде набегов и, соответственно, насильственного присвоения ресурса. Уплата ясачными государевыми людьми ясака кочевникам встречалась еще в начале XVII столетия. По отписке уфимского воеводы М. Нагого в Тюмень весной 1601 года следовало, что ногаи

> «имали де ясак в Уфинском уезде с ясашных волостей от устья Белы Воложки до уфинские и до аиские вершины и на Катайской волости»[2].

Однако еще зимой 1623 года калмыцкий Уруслан тайша говорил татарину Катайской волости Тохлубаю:

> «Наперед де вы сего давывали ясак нагайцом, а ныне де дадите ясак, а я де к вам пришлю для ясаку послов своих»[3].

Очень многие данные позволяют говорить о набегах в пределы русской колонии в Зауралье как главным образом ресурсодобывающих предприятиях. В 1600 году в результате стычки тобольских юртовских татар с тобынцами и сырянцами был захвачен раненый татарин, который показал, что

> «у табынцов и у сырянцов ныне лошади худы, а как де у них лошади отъедятца, и он деи слышал у татар, что им

---

[1] **Акишин М.О.** Новые документы об отношении аборигенов севера Зауралья к русским властям // УИВ. – 1994. – №1. – С. 122.
[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 194.
[3] Там же. С. 342.

приходить *для добычи* на тобольские да на тюменские волости [курсив наш – В.П.]»[1].

Именно о таком характере кочевых набегов свидетельствуют большинство документов. Так, в описании нападения царевича Аблая с калмыками на Коурдацкую волость в 1631 году читаем:

«…а стояли де воинские люди в Коурдацкой волости мало не весь день, збирали лошади и всякий скот, и навивши де живот на возы и полон, пошли назад… а скота де, которово с собою поднять не могли, весь в Коурдацкой волости пересекли и перестреляли»[2].

Кроме убитых, данная волость не досчиталась 65 человек пленными (ясырем). Ясырь, как и скот, являлся наболее ценным ресурсом, получаемым кочевниками со своей оседлой окраины. Очень часто кочевое освоение происходило в форме банального мелкого грабежа. Так, осенью 1628 года тюменских татар, бывших на зверовье на Тоболе, захватили калмыки тайши Чокура

«и ограбили у них бобры, и лисицы, и выдры, и перье орловое, и луки, и стрелы, и котлы, и платье с них поснимали»[3].

Зимой 1631 года царевич Аблай с калмыками ограбили ясачных татар Терсяцкой волости:

«платье и обувь поснимали донага, и кони, и мяхкую рухлядь их добычю, и котлы, и топоры, и запас поотнимали, а платьишко де им дали ветчаное; и только бы тюменские зверовщики их не наехали, и они б с стужи и з голоду померли»[4].

Подобные сообщения встречаются в административной переписке довольно часто.

Вряд ли за этими набегами стояли какие-либо цели, направленные именно против русской колонии. Достаточно многочисленные свидетельства, что тот или иной сибирский царевич «похваляетца

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 183.
[2] Там же. С. 447.
[3] Там же. С. 398.
[4] Там же. С. 449.

войною на государевых людей, покаместа он и жив будет», можно воспринимать как угодно, но только не в качестве программы действий кучумовичей. Для этого у них не было ни достаточных сил, ни сколько-нибудь сильных стимулов. И вообще подобная антирусская ангажированность как-то не вяжется с таким, например, свидетельством: зимой 1600 года люди царевича Азима, находясь в Каратабынской волости (по реке Уй),

> «просят де ездя у башкирцев одежи и кормы»[1].

Весьма красноречивой в этом смысле является и похвальба царевича Аблая осенью 1632 года (в период максимальных успехов кочевников в их противостоянии русской колонии в Зауралье), который спрашивал ясачного зверовщика

> «не будут ли на них с Тюмени государевы ратные люди, а хотя де и будет посылка за мною, и в три де ночи далече от Тюмени отъеду»[2].

Впрочем, в колонии эти заявления могли восприниматься вполне серьезно.

Южная часть Зауралья играла очень важную для кочевой жизни роль, поскольку являлась и местом зимовий. Посланные в зиму 1600-1601 года к кучумовым царевичам уфимские служилые татары нашли царевичей Каная и Азима

> «меж Ишима и Обаги реки в дуброве, от устья Обаги реки 3 днища езду конного вверх по Абаге: а поставлены де у них избы рублены в стену кругом, по смете де изб с полчетвертадесять; да… обдернуто около изб телегами кочевными большими для крепости от приходов»[3].

У царевичей Каная и Азима было «всяких человек с 150». У находившегося на зимовье ближе к сибирским городам царевича Алея с младшими братьями было

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 195.
[2] Там же. С. 464.
[3] Там же. С. 196.

«человек до 300 и больше, а зимуют де они в разни для того, что им, живучи вместе, прокормить нечем»[1].

И впоследствии места по Тоболу и его притокам были основным местом кочевых зимовий. Таким образом, необходимость устраивать зимовья не только приводила к ежегодной подкочевке этих людей к границам русского заселения, но и определяла разбросанность этих зимовий из-за недостатка кормов, что лишний раз показывает роль южной части Зауралья для кочевников. Я. Сулоцкий считал вопрос о кочевых зимовьях ключевым в проблеме традиционного противостояния кочевой и оседлой культур. Конфликты между ними проистекают главным образом потому, что кочевники опасаются и стремятся предотвратить наступление оседлости на места традиционных зимовий, поскольку

«оседлые жители лишают их необходимых мест и притом без всякой для себя нужды»[2].

Таким образом, пока хозяйственные интересы коренных народов и колонистов совпадают, территориальные проблемы между ними, как правило, не возникают, поскольку в этом случае территориальные интересы аборигенов защищены административной структурой государства-колонизатора (этническая принадлежность орудия освоения, т.е. экономически эксплуатируемого населения, для нее не принципиальна). Если же территориальные интересы их совпадают, а хозяйственные нет, то шансов на бесконфликтное сожительство колонистов и местного населения практически нет. Впрочем, при совпадении территориальных интересов, но несовпадении времени их проявления, острота этого противостояния несколько снижается. Именно на этот момент обратил внимание А.Н. Ракитников[3].

Столь большое значение зауральского региона для кочевой жизни вызвало достаточно определенную реакцию администрации колонии по затруднению доступа кочевников к указанной территории. Реакция эта в своих конкретных проявлениях не представляла собой что-то новое и была вполне традиционна. Можно лишь вслед за М.К. Любавским очередной раз удивиться:

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 196.

[2] ТФ ГАТюО, ф. 144, оп. 1, д. 9, л. 8.

[3] **Ракитников А.Н.** Некоторые особенности исторической географии земледелия и животноводства в Средней Азии // Вопросы географии. Вып. 50. – М.: Географгиз, 1960. – С. 89-90.

> «Как однообразны явления нашей истории на протяжении многих веков. Все та же борьба со степью, все те же средства защиты»[1].

К подобным фактам воспроизводства способов защиты от степняков можно отнести строительство городов и острогов на традиционных путях сообщения кочевых орд: степных дорогах (шляхах) и речных переправах[2]. Подобная практика, начавшая планомерно осуществляться в Русском государстве с XVI века, имела не только тактический успех, но и стратегический: не только обезопасила от внезапного нападения районы русского заселения, но и постепенно ослабляла кочевников, лишенных привычной коммуникации. В Зауралье в конце первой трети XVII века преградой на традиционных путях проникновения «воинских людей» на территории по нижнему течению Тобола и Иртыша стали два острожка – Тарханский и Вагайский. Первый был основан около 1628 года на Тоболе недалеко от впадения в него реки Туры; второй поставлен был в 1633 году при реке Вагае, несколько выше ее устья. Они, как и большинство подобного рода острожков того времени, не имели постоянного населения; только на летнее время туда присылались из Тобольска десятка по два, по три или более, «смотря по вестям», казаков и стрельцов. Вскоре, правда, Вагайский острожек пришлось перенести на новое место – в урочище Атбаш на Вагае, выше прежнего места на несколько верст[3]. Как показывали тобольские служилые люди в 1636 году тобольскому воеводе:

> «поставлен де тот Вагайский острожек не у места, от большой степи и от калмыцкой дороги в стороне, и как де они ходят из Тобольска в поход против калмыков или в посланниках к последним, то идут прямою дорогою на урочище Атбаш и Вагайский острожек и вагайских служилых людей совсем не видят, а равным образом, если и воинские люди пойдут тою же дорогою на тобольский уезд, то они незаметно для вагайских служилых людей могут вторгнуться в Кударовскую слободу и русския деревни и татарские юрты…»[4].

---

[1] **Любавский М.К.** Указ. соч. С. 175-176.
[2] **Дулов А.В.** Указ. соч. С. 212-213.
[3] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 117.
[4] Там же. С. 117-118.

Вследствие таких показаний воевода Михаил Ростовский приказал перенести острожек в Атбашское урочище. В отписке в Москву он оправдывал это так:

> «Урочище Атбаш лежит на прямой калмыцкой дороге, которая из-за реки Ишима идет чрез Ашлыцкие юрты и чрез Вагай на атбашское урочище; а к этому последнему месту прилегли с одной стороны крепкия леса, а с другой непроходимыя болота, простирающияся вверх по Вагаю верст на 90; сухаго места между рекой Вагаем и болотами только сажен на 12 и этим то местом проходят калмыцкие воинские люди, а обойти оное совершенно невозможно»[1].

Еще одним проявлением этой практики можно считать строительство в 1650-м году Катайского острога на так называемой Старой Казанской дороге, являвшейся древним путем сообщения приуральских и зауральских кочевых и полукочевых народов. То, что эта дорога, не смотря на запрет, действовала еще во второй половине XVII столетия, мы видим из «Списка с чертежа Сибирския земли», датируемого 1672 годом, где дорога из Тобольска до Казани «мимо Тюмени и Уфы, степью чрез Башкирскую землю, езду месяц»[2], показана определенно функционирующей. К этому же времени относятся свидетельства о проезде людей не через Верхотурье, а «окольными степными дорогами»[3].

В отличие от европейской части Русского государства, где основным противником на южных границах в исследуемый период выступало полукочевое Крымское ханство, в Зауралье такого единого врага не было. Кучумовичи, ногаи, а затем и калмыки кочевали относительно небольшими группами и на очень обширной территории. Значительная степень мобильности этих групп, а также «размытость» южных границ, делали применение в Зауралье методов защиты от кочевой угрозы, известных в европейской части государства, если не невозможным, то, по меньшей мере, нецелесообразным. Массовым набегам со стороны Крымского ханства было противопоставлено строительство в середине XVII века сплошных линий укреплений – так называемых «засечных черт». В Зауралье же подобное строительство было невозможно в силу ряда причин. Во-первых, это было

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 118.
[2] **Титов А.** Указ. соч. С. 44.
[3] РГАДА, ф. 1111, оп. 2, д. 238, л. 36-37.

бы малоэффективным против небольших мобильных отрядов, каковыми и являлись по форме своей организации зауральские кочевники. Во-вторых, возник бы вопрос о месте строительства такой линии. Если ее строить непосредственно у южной окраины русского расселения, то есть там, где такое строительство еще могло бы быть в какой-то мере обеспечено людскими ресурсами и строительным материалом, то сомнительные преимущества такой линии были бы с лихвой перекрыты ее недостатками. В этом случае территории к югу от такой линии перешли бы в безраздельное владение кочевников с потерей для Русского государства как добываемых здесь ресурсов (ясачным населением), так и потенциальных (как колонизационный фонд). Строительство же такой линии непосредственно на границе со Степью при недостатке людских и строительных ресурсов выглядело бы предприятием совершенно фантастическим. Наконец, в-третьих, едва ли необходимость в таком строительстве, по крайней мере, до конца XVII столетия ощущалась современниками.

Со временем в колонии все же пришли к мнению о предпочтительности строительства укрепленных линий, которые бы делали глубокие рейды кочевников более проблематичными. По указу царя Алексея Михайловича 1668 года помимо прочего повелевалось:

> «…и где меж слобод Тобольского уезду построить от приходу воинских людей, по высмотру столника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарищи, какие крепости и по сколку человек в которой крепости посадить драгун…»[1].

Эта укрепленная линия протянулась от Тобольска до вершины реки Чусовой и состояла из тринадцати населенных пунктов, либо специально построенных для этой цели (шесть вновь назначенных к построению острогов и острожков), либо включенных в состав линии из ранее существовавших острогов и слобод. Линия тянулась от Тобольска вверх по Тоболу до острожка на устье речки Тарханки, от него вверх по Тоболу до Ялуторовской слободы, оттуда вверх по Исети до Исетского острога, далее к устью речки Терсук, где положено быть острожку. От этого места до Куринской слободы, а от нее до устья речки Маслянки, где также заводился острожек. От него линия шла к Шадринской слободе и через Далматов монастырь на Катайский острог, далее на устье реки Синары, где устраивался острожек, затем «до усть верхней речки Каменки», где положено быть острогу.

[1] **Титов А.** Указ. соч. С. 25-26.

Линия продолжалась у озера Исеть, где также должен был быть построен острог, от него линия шла к своему конечному пункту – вершине реки Чусовой, где тоже устраивался острог. В качестве «оправдания» строительства новых и укрепления старых крепостей (в частности, Тарханского, Терсюцкого острожков, Верхнекаменского и Верхне-Чусовского острогов) указывалось, что «тут самопущий проход воинским людем»[1]. Причем строительство некоторых из этих укреплений напрямую связывалось с конкретным противником: Тарханского острожка с «Кучумовыми внучатами» и калмыками, а Верхне-Чусовской острог с «баскирцами», которые «великим государем изменили»[2]; последний (как и Катайский острог) был построен на знаменитой «Казанской тропе», шедшей из Казани через башкирские степи на Тобольск. В новопостроенные укрепления были направлены отряды драгун, в драгуны же переводились и беломестные казаки, несшие службу в старых острогах и слободах, включенных в состав новой линии.

Только старцы Далматова монастыря, который также намечался в состав этой укрепленной линии, заявили, «что де у них драгун не надобно», оправдывая это своим якобы неприступным географическим положением, из-за которого «воинским людем проходу на монастырь не бывало и ныне не будет»[3]. Очевидно, старцы просто не хотели делить властные полномочия в своей вотчине с кем бы то ни было, даже во вред себе (монастырь и население его вотчины неоднократно в течение второй половины XVII – первой половины XVIII столетия испытывали жестокие разорения со стороны «воинских людей», а именно – в 1651, 1662, 1664, 1669, 1736-1737 гг.[4]).

Работы по созданию вышеуказанной укрепленной линии не были в полной мере произведены, что потребовало дополнительных распоряжений. Указ Федора Алексеевича от 3 декабря 7187 (1678) года:

> «…и построить из Тоболска, против прежнего нашего великого государя указу, с степи, чего не достроено, от приходу под Тоболеск и Тоболского розряду под Тару, под Тюмень, под Верхотурье и уезды, также и в иных Сибирских низовых во всех городех и острогах построить же, из тех городов и острогов от воинских людей остроги

---

[1] **Титов А.** Указ. соч. С. 28-29.
[2] Там же.
[3] Там же. С. 29.
[4] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 3177, л. 7-8; д. 3243, л. 5, 23, 29-35 и др.

и слободы и всякие крепости, где пристойно, чтоб теми острогами и слободами и крепостьми перенять воинской приход…»[1].

Эти укрепленные линии представляли собой, по сути, одиночные крепости, охранявшие жившее в окрестности население и несколько затруднявшие прорывы кочевников вглубь русского расселения. Связи между этими крепостями не были столь упорядоченны и быстры, чтобы можно было рассматривать эти укрепленные линии в качестве единой структуры. Небольшие мобильные отряды кочевников могли проникать сквозь ничем не защищенные «разрывы» между отдельными укрепленными пунктами. Отсюда становится понятным тот факт, что источником подавляющей части информации о прорывах кочевников были случайные свидетели. Как следствие, помощь хронически запаздывала, поскольку общепринятых и эффективных способов раннего оповещения об опасности в колонии не существовало. Практика «отъезжих караулов» и «сторож», а также мобильных дозорных отрядов была, по всей видимости, малоэффективной (согласно документам, они крайне редко выступали в качестве источника информации об опасных для колонии инициативах кочевников). В этом смысле показательно наставление тобольского воеводы М. Темкина-Ростовского приказчику Нижней Ницынской слободы И. Венгеровскому от 3 июня 1635 года (в период максимальных военных успехов калмыков):

«А ково учнешь конных казаков на отъезжие сторожи посылать, и тебе им приказывать накрепко, чтоб они на сторожах не спали»[2].

Только строительство узкофункциональных структур, таких как линии крепостей с их упорядоченным и продуманным механизмом раннего оповещения могли обеспечить действительно эффективную и действенную защиту территории колонии от кочевых набегов.

Уже в 30-х годах XVIII века становится все более очевидной необходимость строительства эффективных преград на пути кочевой угрозы в Зауралье. Видимо одним из первых проявлений такого рода было повеление 1736 года

---

[1] ДАИ, т. VII. С. 347.

[2] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 494-495.

«для сокрачения воров где случай допустит в нужных по дорогам местах поделать острошки оставляя во оных правианта неменши году, чтоб вслучае от воров в приездах помешательства непретерпели нужды, к томуж при регулярных сели б и нерегулярные [общее количество зауральского нерегулярного войска к 1742 году составляло 935 человек, из них тобольских казаков и татар – 780 человек, верхотурских – 89, туринских – 46 и пелымских – 20[1] – В.П.] кои могут ис таких острошков розъезды иметь и тем оставших воров утеснять, лошадей и скот отгонять»[2].

В том же 1736 году по указу императрицы яицких казаков,

«да из Сибирских ближних городов казачьих и дворянских детей неверстаных и неположенных в подушный оклад до тысячи, и из уфимских служилых мещеряков… также и Течинской слободы ис крестьян, написать в казаки охотников до тысячи человек и употребить их в розъезд по Тоболу и Ишиму реках и до Иртыша»[3].

Таким образом, наряду со стационарными, существовали и мобильные заставы на пути кочевников.

В 1739 году последовал указ генерал-лейтенанту князю Урусову:

«…а от Верхояицкой пристани, вниз по реке Ую и по реке Тоболю до Царева Городища, также строить крепостцы и селить; а ежели такия крепкия и к поселению удобныя места одно от другаго в дальнем разстоянии, а именно, не ближе пятидесяти или сорока верст придет: то между поселения поделать малые редуты для содержания караулов и убежища от неприятеля проезжим людям, и при тех редутах иметь высокия караульни на столбах, дабы с одной до другой часовым видеть и неприятеля усмотреть было можно, и чтоб от редута до редута, или пушечным

[1] РГВИА, ф. 23, оп. 1, д. 812, л. 42 об.
[2] Там же. Ф. 20, оп. 1/47, д. 66, л. 1.
[3] Там же. Л. 3.

выстрелом, или чрез зажжение маяков дать знать было можно»[1].

Таким образом, закладывалась основа механизма раннего оповещения, благодаря которому о прорыве кочевников становилось известно в ближайшие часы и по всей линии. К середине XVIII столетия Новоишимская и соединенная с ней Уйская укрепленные линии (от Петропавловской крепости до крепости Св. Петра на Ишиме) состояли уже из 13 крепостей, 24 редутов и 39 маяков[2].

Необходимо отметить, что строительство укрепленных линий на юге Зауралья в 30-е – 50-е годы XVIII столетия происходило не в виде поэтапного «сползания» в сторону Степи, с естественной потерей значения остающихся в тылу линий, но во многом как составная часть общей стратегии создания глубокоэшелонированной обороны. Особенно это касается наиболее опасного участка периферии русского заселения – Тоболо-Ишимского междуречья – не имевшего естественных преград со стороны степи. С построением новых линий крепостей старые не теряют своих функций и продолжают осуществлять их, или, во всяком случае, продолжают оставаться во внимании военного ведомства. На карте укрепленных линий и линий крепостей 1746 года мы видим на территории Зауралья семь существующих и функционирующих, вновь назначенных к построению, а также уже утративших свое значение, линий[3]. Военно-фортификационный характер подавляющего большинства составляющих эти линии элементов (что видно из номенклатуры их типов, не получивших еще гражданской окраски), а также слабая заселенность (а на юге и полное отсутствие таковой) окружающей их территории, показывают эти линии определенно функционирующими.

Наиболее острые в военном отношении моменты на южной окраине русского расселения Зауралья сопровождались единичными случаями «тактического отступления». Однако уже вскоре выявилась эффективность заградительных мер. Дело в том, что возможность проведения сколько-нибудь систематических набегов на окраины русского заселения зависела от очень многих обстоятельств и не была беспредельной. Увеличивавшаяся с каждым годом сеть опорных пунктов, их продвижение на юг, рост общей населенности края делали подобные вылазки все более проблематичными. В 1717 году было удовлетворено прошение крестьян Усть-Суерской слободы Захара и

---

[1] ПСЗ РИ, т. X. С. 867-868.
[2] РГВИА, ф. 424, д. 41, л. 1.
[3] Там же. Ф. 416, д. 358, л. 1.

Семена Шестаковых о разрешении им переселиться на место прежней Суерской слободы, разоренной казачьей ордою. Лет 14 тому назад крестьяне оной, видя, «что та слобода от иноземцев разоряется», просили о переводе ее на другое, более безопасное место. Ныне же «в распространение его величества отчины» попросили отдать им прежнюю землю[1]. К середине XVIII столетия и старая Уковская заимка Рафайлова монастыря

> «на свое отводное место на середину переносится, понеже старая за опасностию тогда от киргис-кайсатских набегов поселена была на межах Ялуторовскаго острогу, к тому ж и в пахоте удаление имели»[2].

К началу XVIII столетия русские поселения под напором набегов стали не столько откатываться назад, сколько видоизменяться, приспосабливаться к новым условиям. В июле 1699 года по указной памяти из Тобольска было

> «велено перевесть в слободы со степи из деревень и из заимок крестьян», а «вокруг слобод учинить укрепления…»[3].

В 1736 году, во время очередного обострения отношений с башкирами, промеморией действительного статского советника В.Н. Татищева было положено

> «пограничные деревни, которые выжжены, велеть строить порядочно слободами, а которые несильно [сож]жены, тех хотя совсем переламывать, однако улицы назначить и которые дворы далеко стоят, велеть сломав между другими вместе в удобное место [поставить], и около тех деревень леса вырубить, пахать и сена косить…, чтоб крестьяне коней и скот имели за пастухами, а поскотины в пограничных деревнях велеть разломать…»[4].

---

[1] **Андриевич В.К.** Указ. соч. С. 162.
[2] ТФ ГАТюО, ф. 156, оп. 2, д. 617, л. 107 об.
[3] РГАДА, ф. 199, № 478, ч. 3, д. 57, л. 4.
[4] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 182, л. 26-26 об.

Все эти меры способствовали тому, что набеги кочевников уже не только не приносили им столь богатых плодов как раньше, но более того были сопряжены с очень большой опасностью для них самих.

*2002*

## 6.3. КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

При наличии нескольких близко расположенных массивов разнофункциональных типов населенных пунктов возникает тенденция к их функциональной взаимосвязи. При этом сама возможность существования таких разнородных массивов находится в прямой зависимости от наличия и функциональности коммуникаций между ними. Так, в первой половине XVIII столетия сам факт возможности организации устойчивой коммуникации внутри зауральской части сибирской колонии позволил существовать здесь столь узкофункциональным группам поселений, как уральские металлургические заводы и линии крепостей на южной границе.

При возникновении во второй трети XVIII столетия на юге Зауралья ряда укрепленных линий, не имевших возможности одновременно обеспечивать себя всеми необходимыми ресурсами и в то же время исполнять свои прямые функциональные обязанности, возникает устойчивое ролевое разделение между линиями крепостей, обеспечивающих охрану зоны русского земледельческого расселения, и последней, которая должна была снабжать укрепленные линии необходимым ресурсом. По направлению к южным границам Зауралья потекли потоки людей, фуража, провианта и т.п.

Наиболее ранние сведения о доставке фуража и продовольствия в крепости Уйской укрепленной линии относятся к 1736 году[1]. По всей видимости центром снабжения этой линии являлся Шадринск, по крайней мере, подводные ведомости показывают его основным отправителем, от него же рассчитаны и расстояния до крепостей. Скорее всего Шадринск исполнял роль главного ретранслятора транспортных потоков, идущих от исетских и миасских земледельческих поселений по направлению к отдельным крепостям Уйской линии. По нашим подсчетам, при средней длине этих потоков в 270 верст (данные по 11-ти крепостям) и среднем количестве подвод на каждую крепость за 1750-й год в 470 штук (данные по 8-ми крепо-

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 182, л. 26-26 об.

стям)[1], коммуникационная линия между массивом земледельческих поселений по Исети и Миассу и укрепленной линией по Ую и Яику представляла собой весьма ощутимое на субрегиональном уровне явление.

Однако кажущаяся неравноценность обмена между сторонами этой коммуникации делала их отношения крайне неустойчивыми. Безопасность – основной ресурс, поставляемый линией крепостей, не является, если можно так выразиться, положительным ресурсом. Он не дает ничего, кроме того, что не позволяет отнимать ресурс, уже имеющийся в наличии. В обмен на это земледельческие поселения должны были поставлять уже «реальный», видимый ресурс (овес, ржаную муку и крупу). Обременительность этих поставок для населения (примерно на 8 д.м.п. – одна подвода) еще более обостряла ощущение неравнозначности обмена и усиливала сопротивление этой коммуникации: начиная от бегства подводчиков, за что следовало наказание плетьми[2], и заканчивая отказом поставщиков провианта и фуража от дальнейших поставок из-за неуплаты подводных денег[3].

Еще одним чрезвычайно важным ресурсом, шедшим в сторону укрепленной линии, были люди. Даже к концу первой половины XVIII века были заметны некоторые признаки довольно ощутимого притока населения из европейской части России в Зауралье и его относительно свободного размещения на данной территории. Вторая половина 30-х годов этого столетия, характеризующаяся началом массового строительства укрепленных линий на юге Урала и Зауралья, явилась временем стягивания неупорядоченного человеческого субстрата по направлению к южным границам. Императорские указы о заселении строящихся крепостей охочими людьми из Сибирской губернии давал возможность наиболее недовольному своим положением, либо незакрепленному по тем или иным причинам в существующей поселенческой структуре элементу изменить свое положение. Среди людей, желавших поселиться во вновь построенных крепостях, это, как правило, жители монастырских вотчин, либо недавние выходцы из Европейской России, еще не укорененные на новом месте.

Осенью 1736 года в Чебаркульскую крепость обратились с просьбой о поселении крестьяне следующих уездов: Вологодского, Балахонского, Устюжского, Чердынского, Важецкого, Серпуховского,

---

[1] Там же. Д. 192, л. 15

[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 340, л. 13; д. 375, л. 52-63 об.

[3] Там же. Д. 375, л. 30 об.

Кунгурского, Каргопольского, Переяславль-Залесского[1]. Может показаться, что причиной заселения крепостей на крайнем юго-западе Зауралья выходцами преимущественно из европейских уездов является только близость этих крепостей к европейской части России. Однако, если мы посмотрим на аналогичные прошения, поданные в Успенском Далматовском монастыре в 1737 году, то придется сделать вывод не только о наличии на территории Зауралья относительно большого числа мигрантов из Европейской России, но и констатировать факт особой неспособности их к адаптации в старожильческих поселенческих структурах. Из 14-ти человек с семьями, записавшихся на поселение в Челябинскую, Чебаркульскую и Миасскую крепости, только двое были местные. Остальные – выходцы из Юрьевец-Поволжского, Тотемского, Кунгурского, Саранского, Верхотурского, Костромского, Ярославского уездов, а также г. Вологды[2]. Период проживания их на территории вотчины Далматова монастыря после выхода из Европейской России составлял в среднем 4 года и варьировался от полугода до 10 лет[3].

В росписи крестьян, «охочих к строению крепостей и к поселению» и набиравшихся в южнозауральских дистриктах, наибольшее число таких желающих было выявлено в Шадринском дистрикте. Лидируют здесь Далматов монастырь (114 д.м.п.) и заимка Кодинского монастыря (105 д.м.п.). Много желающих было в Барневской (52 д.м.п.), Шадринской (48 д.м.п.), Исетской (42 д.м.п.) слободах, а также в слободах Краснослободского дистрикта – Куяровской (39 д.м.п.) и Беляковской (36 д.м.п.). В остальных местах количество готовых к такому переселению крестьян было невелико и варьировалось от 2 до 20 д.м.п.[4]

Вместе с тем, выселение крестьян из монастырских вотчин наталкивалось на жесткое противодействие со стороны монастырских властей. Так, для обратившихся в сентябре 1736 года в Челябинскую крепость с просьбой о поселении крестьян Далматовского Успенского монастыря потребовалось специальное обращение к архимандриту монастыря Перфилию. «Нечиня им никакова препятствия или задержания», монастырское начальство должно было позволить своим бывшим крестьянам забрать жен своих, детей, домашний скарб, половину посеянного хлеба, а также продать строения, дав им возможность вернуться до 15 сентября,

---

[1] Там же. Д. 347, л. 13-13 об.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 186, л. 2-4 об., 9-10.
[3] Там же. Д. 193, л. 24 об.-25 об.
[4] Там же.

> «дабы они могли заблаговременно к зиме исправитца хотя малым строением и заготовлением сена»[1].

Однако по некоторым данным, монастырю, обеспокоенному «обеднением обители», все же удалось договориться через майора Павлуцкого с линейным начальством,

> «что впредь наших монастырских крестьян в новопостроенные крепости принимать не будут, а которые наши монастырские крестьяне при оные крепости записаны, будут возвращены в монастырь»[2].

Ко второй половине XVIII столетия сопротивление в процессах миграций населения резко усилилось даже на губернской периферии. Созданная к тому времени поселенческая структура становилась все более жесткой и устойчивой. Дело заселения окраин губернии переставало восприниматься делом государственной важности и все более использовалось губернским начальством в своих собственных интересах. В 1779 году в Тобольскую губернию был послан оберштеркригскомиссар Григорий Осипов с тайным заданием

> «узнать порядок в течении дел всякаго рода по тамошним правлениям, точность в зборах, хранении казны и расходах, исполнение законов и повелений вышних началств, состояние жителей и претерпеваемые иногда ими от кого-либо обиды, угнетения и разорения»[3].

В своем донесении по результатам этой миссии, помимо прочих злоупотреблений, он упоминает людей, желавших поселиться на южной окраине губернии при линиях крепостей, которые, однако, должны были «сыскивать за деньги туда своего отправления», а за неимением оных вынужденных находиться в услужении у губернатора и его приближенных[4].

Поскольку оборонительная функция имела в значительной степени конъюнктурный характер, подобная функциональная связка – земледельческие поселения (поставка ресурса) и линии крепостей (обеспечение охраны) – имела впоследствии не вполне ожидаемые

---

[1] РГВИА, ф. 20, оп. 1/47, д. 66, л. 4-12.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 186, л. 2-3.
[3] РГАДА, ф. 24, д. 57, л. 1.
[4] Там же. Л. 4.

следствия. К началу XIX столетия, когда непосредственная опасность со стороны Степи была преодолена, население укрепленных линий, привыкшее к исправной поставке ресурсов извне и утратившее традиции сельского труда, уже не имело ни способностей, ни особого желания заниматься хозяйством. Я. Сулоцкий рисует портрет этих людей, занятых бесконечной муштрой и бесчисленными смотрами, по необходимости перенимающих образ жизни киргизов, практически ничего не производящих, довольствующихся тем, что войско снабжает их всем необходимым, а для удовлетворения других нужд ждущих командировки в степь, где нетрудно поживиться грабежом[1].

Определенной функциональной взаимосвязью характеризовались и отношения зауральских горных заводов и их аграрного окружения. Основной проблемой для вновь построенных предприятий становилась нехватка рабочих рук, которую не в состоянии была обеспечить даже относительно высокая заработная плата. Как отмечал Н. Демидов, сибирские работники ненадежны, потому что

> «в Сибири хлеб вельми родитца и скоту довольно и живут на воли…», а «коли которой придет наняться поработать, и они работают дни по два и по три, то и много что неделю… А буде которого за худую работу молвишь жестокое слово, и он и с полудни, покинув работу, пойдет»[2].

Выход был найден в приписке крестьян к заводам, первые из которых были произведены в 1722 году и касались крестьянского населения Екатеринбургской, Арамильской, Камышловской, Красноярской, Уткинской и Каменской слобод, а также Катайского острога[3]. В 1727-1742 гг. началась и приписка крестьян к заводам Акинфия Демидова[4]. К началу 60-х гг. население большинства ближайших к уральским заводам крупных поселений Зауралья (всего более 40 слобод и острогов, около 35 тыс. человек) оказалось приписанным «для заводских работ»[5]. Как правило, основная часть работников была приписана из окрестных поселений – слобод, сел и деревней, од-

---

[1] ТФ ГАТюО, ф. 144, оп. 1, д. 9, л. 5-5 об., 11-11 об.

[2] Цит. по: **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 10.

[3] **Черкасова А.С.** Численность и размещение приписных крестьян России во 2 половине XVIII века // Историческая география России XVIII в. Ч. I: Города, промышленность, торговля. – М., 1981. – С. 190-192.

[4] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 117.

[5] **Черкасова А.С.** Указ. соч. С. 190-203.

нако встречались и случаи приписки крестьян из весьма отдаленных от заводов мест, иногда за несколько сотен верст[1]. Крестьянское участие в заводском производстве, помимо самого заводского строительства, заключалось в исполнении ими вспомогательных производственных работ: добыче руды, флюсов, древесного угля, дров, точильного камня, строительных материалов (глины, кирпича, бревен, смолы, дегтя, пеньки); производстве тары (коробов, решеток, ведер, бочек); заготовке «мелочных» припасов; транспортировке сырья, полуфабрикатов и готовой продукции[2]. Горным заводам требовались не только рабочие руки, но и продовольствие, поставку которого сначала попытались также возложить на крестьян прилежащих территорий в порядке отработки ими повинности. Однако относительная дешевизна сельскохозяйственной продукции и сопротивление крестьянского населения привели к тому, что распространение получила закупка продовольствия по «вольным» ценам[3].

*2002*

## 6.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В КОЛОНИИ

Если по отношению к неосвоенному населению (местному инородческому или кочевому) административная структура применяла средства освоения, то по отношению к уже освоенному населению (как русскому, так и инородческому) главной задачей считалось упорядочивание. В первую очередь упорядочению подлежали информационные потоки, как вертикальные (между центром и колонией), так и горизонтальные (внутри колонии). Летом 1595 года с Тюмени бежали 50 человек татар. Посланным за ними людям сообщили, что

> «побежали они из города для того, что слышали они от толмача от Мити от Токманаева, сказывал им, что приедут в Сибирь ныне воеводы новые, а с ними де наш указ, что велено из них из кинырцев и из башкирцев, выбрав лутчих людей 12 человек, побить, а иных сослать на Тару и с женами и с детьми, а которые худые останутца, и на тех велено положить пашня, по 5 чети ржи сеять»[4].

---

[1] **Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В.** Указ. соч. С. 125.
[2] Там же. С. 28-29.
[3] Там же. С. 91.
[4] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 174.

Реакция власти, всегда жестко следившей за аутентичностью исходящей от нее информации, последовала незамедлительно:

> «А толмача Митю Токманаева за воровство, что он воровал, смуту и ссору сделал в волостях в ясашных и в служилых людех великую, велели ево бити кнутом по торгом передо всеми служилыми и ясашными татары и посадили его в тюрьму до нашего указу, чтоб неповадно было впредь иным вором так воровать, смуты и ссоры в волостях в ясашных людех и в служилых татарех делать»[1].

В 1733 году среди крестьян вотчины Далматова монастыря и соседних с ней слобод, видимо как ответ на все большее окоснение поселенческой структуры, стали распространяться слухи, будто по указу ее императорского величества велено

> «в степные места в башкирские жилища по речке Увельке селитца вновь, будто для… государственной прибыли брать людей отовсюду из слобод и из монастырей кто пожелает»[2].

«Милостивые указы», к которым И.В. Побережников относит реальные указы, подвергнутые утонченной интерпретации; подложные указы; пожелания социальных низов, приписанные монаршей воле[3], являлись достаточно серьезным фактором, искажающим информационные потоки и способствующим нарастанию непонимания и, как следствие, конфликтности в обществе. Однако нельзя сказать, что государство не видело этой проблемы и не стремилось унифицировать информационное пространство подконтрольной территории. В этом отношении представляет интерес указ Петра I от 10 февраля 1720 года. Речь в нем идет о доведении до масс информации о правительственных денежных и других сборах. Во-первых, было повелено посылать печатные (а не рукописные как ранее) указы,

> «которые как в городех, так и в уездех, в народе публиковать, и по селам розсылать, и отдавать попам, а им в церквах оные указы, по вся праздники, и воскресные дни,

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 175.
[2] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 163, л. 3.
[3] **Побережников И.В.** Народная монархическая концепция на Урале (XVIII – первая половина XIX в.) // УИВ. – 1994. – №1. – С. 25.

> для ведома прихожан читать, чтоб всяк о тех зборах подлинно был сведом, и никому б нельзя было прибавить или убавить»[1].

Таким образом, прилагались усилия, чтобы правительственные распоряжения доходили до масс в максимально аутентичной форме. Во-вторых, это в некоторой степени сужало возможности злоупотреблений в самой административной структуре:

> «А буде кто сверх того что станет брать лишнее, то… за оное преступление чинить смертная казнь, или вечная ссылка на галеру, с наказанием и вырезанием ноздрей, и лишением всего имения…»[2].

Иными словами, данный указ попытался максимально снизить информационные искажения на пути между правительством и массами, а значит и максимально унифицировать эти массы путем доведения до них единообразной информации. Впрочем в аутентичности информации, протекавшей во властной вертикали, объективно были заинтересованы и сами народные массы. И.В. Побережников отмечал, что согласно воззрениям крестьян «царские приближенные и местная администрация создают информационный барьер между монархом и народом»[3], поэтому о многочисленных злоупотреблениях сановников государь не всегда ведает. Аутентичность информации, таким образом, разрушала порочную концепцию «народного монархизма», эксплуатировавшую надежду на долгожданное вмешательство «доброго», но неинформированного монарха.

Горизонтальные унификационные процессы в самой колонии также представляют большой интерес. Как правило, процессы эти были связаны с информационным обменом, который, в свою очередь, вызывался в основном ротацией служилого населения между элементами колониальной поселенческой структуры. Ротация служилого элемента в северных сибирских городах была связана, по-видимому, со сменой воевод. Так, по государеву указу от 25 января 1603 года производилась смена мангазейских воевод. К этому было приурочено следующее распоряжение:

---

[1] ШФ ГАКО, ф. 224, д. 47, л. 18.
[2] Там же.
[3] **Побережников И.В.** Указ. соч. С. 25.

> «А служивых людей велено послать в Мангазею прежним служивым людем на перемену, выбрав из тобольских литвы и казаков и стрельцов с атаманом 50-т человек да с Березова с атаманом казаков 50-т человек»[1].

В центральной и южной частях Зауралья ротация служилых людей была связана в основном с периодами повышения военной опасности со стороны Степи или другими чрезвычайными обстоятельствами (например, возведением нового острожного или городского строения взамен сгоревшего или обветшавшего). Осенью 1603 года туринский голова И. Лихарев писал тюменскому голове А. Безобразову о необходимости присылки с Тюмени в Туринский острог

> «служилых людей на время 10 человек, чтобы… над острогом от воинских людей приходу порухи не было, ни над хлебом»[2].

А. Безобразов в людях отказал, посоветовав обратиться в Тобольск, что спровоцировало донос И. Лихарева в Москву:

> «…а яз о том ко государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Русии писал, что яз к тебе на Тюмень о 10-ти человеках писал…»[3].

Та же ситуация повторилась в 1609 году. Тюменский воевода М. Годунов отписывал туринскому воеводе И. Годунову:

> «Да писал ты нам о служилых людех, чтоб прислать в Туринской острог; и на Тюмени служилых людей мало, писать тебе о служилых людех в Тоболеск»[4].

Практиковались краткосрочные отправки служилых «по вестям» и в слободы. Но и здесь не все было гладко. В Чубаровскую слободу посылали

> «туринских стрельцов в год помесячно по 5 человек без переводно, а с нынешняго со 148-го году… ис Туринского

---

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 203.
[2] Там же. С. 211.
[3] Там же.
[4] Там же. С. 246.

острогу не учели посылать ни по одному человеку, не ведомо для какие меры»[1].

На появившиеся вскоре тревожные вести приказчик Чубарова Я. Шульгин просил отписать из Туринска

«будут ли ис Туринсково острогу на Чюбарово служилые люди на обереганье или мне на их не надеетца»[2].

Таким образом, с одной стороны, «дефицитность» служилого населения в колонии в некоторой степени тормозила информационный обмен, но с другой, она же определяла и его бóльшую эффективность, поскольку вовлекала в ротационные процессы одни и те же элементы. Информационный обмен осуществлялся и благодаря небольшим срокам нахождения в должности (в среднем 2–4 года) и ротации представителей управленческого звена колонии, начиная от приказных в слободах и острогах и заканчивая городскими головами и воеводами.

Значительная ротация служилого и низшего административного элемента по населенным пунктам Сибири, а также частая сменяемость представителей высшего, воеводского управления, вызывали интенсивный информационный обмен не только внутри колонии, но и в ее отношениях с метрополией. Это, с одной стороны, способствовало многократному дублированию структурной информации из метрополии, но с другой, такому же распространению в пределах колонии подвергались и новоприобретенные здесь мутации. Тем не менее, подобная практика делала колонию содержательно более однородной и структурно более целостной.

Отношения между метрополией и колонией характеризуются усилиями первой по унификации организующейся колониальной структуры, подведению ее под некий стандарт. Поэтому мутации колониальной структуры не всегда игнорировались или воспринимались благосклонно в метрополии. П.Н. Буцинский писал:

«Так как первыми насельниками Сибири были русские люди из северных областей, где они и прежде сталкивались с разнаго происхождения инородцами, то и поселившись за Уральским хребтом им пришлось встретиться уже с знакомыми народностями, с теми же остяками,

[1] **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 548.
[2] Там же. С. 554.

вогулами и татарами, с которыми они сталкивались в разных местах и в европейской Руси; язык, вера, нравы и обычаи этих инородцев давно известны были русским людям. Вследствие этого завоеватели не живут замкнуто от покоренных; ни те, ни другие не чуждаются особенно друг друга»[1].

Ослабление властных структур и резкое увеличение хаотичности начальной структуры колонии делали последнюю особо восприимчивой к местным влияниям. Впрочем даже сам по себе факт нарастания деструктивных асоциальных явлений в колонии вызывал определенную озабоченность в метрополии. Д.Я. Резун отмечал, что

«отдаленность центральной и воеводской власти приучала сибиряков к бесконтрольности в своих действиях. Отсюда многочисленные случаи лихоимства и воровства. Очень часто фронтирные поселения долгое время существовали без церкви и священнослужителей, что приводило к ослаблению морально-этических норм и запретов»[2].

Последний аспект был особенно серьезно воспринят в метрополии. Поскольку морально-бытовые нормы наиболее инертны, консервативны, а мутации в них воспринимаются с наибольшим неприятием, в метрополии с особой чувствительностью относились к сведениям о состоянии морали и бытовых обычаев сибирских колонистов. По-видимому, самой серьезной реакцией подобного рода из метрополии было знаменитое обращение патриарха Филарета к сибирской пастве «О повреждении нравов в Сибири»[3]. Памятуя о том влиянии, которое оказывал патриарх на своего сына и царя Михаила Федоровича, данное обращение можно считать официальным мнением государства на происходящие в колонии процессы.

*2002*

---

[1] **Буцинский П.Н.** Указ. соч. С. 329.
[2] **Резун Д.Я.** Фронтир в истории…
[3] СГГД, ч. III. С. 245-253; **Миллер Г.Ф.** Указ. соч. Приложения. – Т. II. – С. 322-330.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс колонизации Зауралья конца XVI – первой половины XVIII веков явился крайне многообразным, и лишь в самом первом приближении рассмотренным нами, примером организации населения в пространстве. Сложное сочетание внешних и внутренних факторов этого процесса, показанное нами, позволило отойти от бытующего представления о мутациях в колонии как прямом следствии тех или иных местных условий. Социальная структура в процессе колонизации новых территорий находит в них прежде всего саму себя, видит в них отражение своих представлений и потребностей. Этот тезис позволяет вычленить два крайних варианта в процессе пространственной организации колонии.

В первом варианте перенос или максимально точное воспроизведение на новой территории структуры метрополии позволяет избежать или свести к минимуму возможные мутации колониальной структуры. Если местные условия не будут препятствовать, колония будет простым продолжением или повторением метрополии.

Во втором варианте накопление ошибок или повышение общего уровня хаотичности структуры при переносе или воспроизведении ее в колонии (в том числе и под воздействием местных факторов) неизбежно приведет к такому же ошибочному (отличному от традиционного для данной структуры) восприятию новой среды. Соответственно новые средовые представления будут транслировать и укреплять мутации колониальной структуры, делать ее отличия от метрополии все более устойчивыми и инертными.

Реальные колонизационные процессы, в том числе и рассмотренная нами колонизация Зауралья, обычно сочетают в себе признаки обоих вариантов.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

**Аблагерим** 89, 157
Аблай 202-203
Авраамов А. 110
Азим 75, 203
Акинфов Ф. 82
Акишин М.О. 201
Алачевы 174, 194
Албаутов Ц. 60
Албычев В. 106
Алей 84, 203
Александров В.А. 140, 158
Алексей Михайлович 39, 43, 174, 207
Алферова Г.В. 41
Андриевич В.К. 145, 156, 164, 212
Анучин Д.Н. 96-97
Аршинский Б. 179
Астраханцов И. 23, 189

**Бабинов А.** 44, 103
Бакшеев И. 86
Баландин С.Н. 134
Барятинский П. 87
Бахрушин С.В. 40, 48, 98-99, 104, 132
Безобразов А. 221
Бергман П. 8
Берди-Мурат 163
Богучарсков В.Т. 29, 34
Борис Федорович 99-100, 196, 221
Будаков С. 45, 162
Буйносов А. 199
Бурашев Е. 188
Буцинский П.Н. 45, 53, 69, 122-123, 126, 138-141, 144, 146-148, 150, 157, 163-164, 166, 175-179, 182, 198-199, 205-206, 222-223

**Вельяминов И.** 72
Венгеровский И. 85, 209
Веригин Ф. 165
Веселовский С.Б. 127, 141, 143
Видаль де ла Блаш П. 7
Власова И.В. 146
Водарский Я.Е. 121, 147
Воеводский Ю. 86
Волынский А.В. 70
Волынский И.Г. 70
Волынский-Птица И.В. 71
Волынцов Г. 45
Воронин Н.Н. 131-132

**Гагарин М.П.** 114, 166, 191
Геннин В.И. 113-114
Герасим 176
Геттнер А. 5
Годунов И. 221
Годунов М.М. 63, 221
Годунов П.И. 39, 43, 45, 207
Годунов Ф. 88-89
Голд Дж. 6-8
Голикова С.В. 112-115, 217-218
Голицын А.А. 110
Головачев П.М. 48, 96, 117-119, 155
Головков С. 186
Гольденберг Л.А. 40-41
Горчаков П. 126
Гудмен Н. 8

**Далмат** (Д.И. Мокринский) 104, 154, 191
Девлеткирей 58-59, 66
Дегтярев А.Я. 148, 168
Демидов А. 217
Демидов Н. 217
Джеймс П. 7
Джонстон Р.Дж. 5, 7
Долгорукий Г. 58
Дулов А.В. 95, 112, 115-116, 128, 163, 166, 200, 205
Дурыня И. 178
Дюркгейм Э. 6

**Есаков В.А.** 34, 39
Ермак 48, 51-53, 83, 96-97, 130

**Желябужский П.** 138

**Загряжский А.** 164
Зауэр К. 5
Зиммель Г. 6
Зубков К.И. 33, 169
Зубов А. 89

**Иван Алексеевич** 177
Иван Васильевич (Грозный) 30, 49, 51-52, 108
Иевлев И. 175
Иофа Л.Е. 109-110, 164
Исленьев П. 76, 82, 87, 94
Ишим 90

**Каловский И.** 76
Канай 203
Каптерев Л.М. 68, 110
Катырев-Ростовский И. 108
Кафенгауз Б.Б. 114
Качесов Ф. 105
Килдибаев Г. 85
Киприан 154-155, 175-176, 182
Клепиков 45
Колтовской И. 45, 162
Корнилий Кошельский 151
Корсаков В. 159, 198
Кофтырев 163
Кристаллер В. 7
Кубей Мурат 89
Куракин Г. 87
Куракин И.С. 80
Куроедов И. 161
Кусов В.С. 23-24, 28, 31-32
Кучум 50

**Лебедев Д.М.** 30, 34-35, 38-39
Леруа-Гуран А. 25
Лѐш А. 7
Лихарев И.Ф. 70, 196, 221
Лоскутников И. 33, 186
Лукман Т. 8
Львов И. 78
Любавский М.К. 52, 101-102, 133, 152-153, 170-171, 205

**Макарий** 174, 176
Мамсик Т.С. 104
Мансуров И. 167
Мартин Дж. 7
Масальский В. 159
Мельникова Е.А. 36
Менщиков В.В. 145
Меркатор 37
Мещерский И. 148
Мещерский Н. 71
Микитин Т. 187
Миллер Г.Ф. 40-41, 44, 46, 48-52, 55-94, 98-100, 102-104, 106-109, 112-113, 124-127, 131-132, 138-139, 146-147, 150-155, 158-160, 163-165, 167, 171-174, 194-198, 201-204, 209, 218-219, 221-223
Миненко Н.А. 112-115, 217-218
Михаил Федорович 63, 163, 190, 198-199, 223
Михалевский О. 85
Молчанов С. 123

**Нагой М.** 201
Невежин Т. 183
Нектарий 176
Нестеров С. 183
Нил Сорский 151
Нифонт Казанский 154
Новомбергский Н.Я. 133

**Оксенов А.** 97
Ортелий 37
Осипов Г. 216

**Павлов П.Н.** 99, 102
Павлуцкий 216
Перхуров А. 87, 101
Пестерев В.В. 49, 118
Петр Алексеевич (Петр I) 177, 219
Плещеев Н. 91
Плотников Г.С. 104, 171, 184, 187, 190
Побережников И.В. 112-115, 217-220
Подосинов А.В. 28-29, 42

Пожарский Д. 71, 74
Полевой Б.П. 34
Постников А.В. 30-32, 34-37, 41
Пузанов В.Д. 68
Пушинцов В. 33, 186
Пушкин С. 159

**Ракитников А.Н.** 204
Расторгуев С.П. 14
Ратцель Ф. 6
Резун Д.Я. 38-39, 47, 134-137, 157, 223
Ремезов С.У. 40
Риттер К. 6
Рихтгофен Ф. 6
Ростовский М. 206
Рукин Ф. 110

**Салищев А.К.** 35
Саушкин Ю.Г. 5-6
Семенов-Тян-Шанский В.П. 121, 133, 135
Сергеев В.И. 130-133, 135-137
Серл Дж.Р. 8
Симеон 182
Сосновский С.Т. 104
Степанов С. 187
Стрешнев М. 74
Строганов Г. 50, 108
Строганов М. 51-52
Строганов Н. 51-52
Строганов С. 51
Строганов Я. 50, 108
Строгановы 50, 52-53
Стюарт Дж. 5
Сулешов Ю. 98
Сулоцкий Я. 204, 217

**Татищев В.Н.** 30, 212
Темкин-Ростовский М.М. 70, 209
Титов А. 39, 43, 156, 206-208
Тойнби А. 9
Толбузин Б. 78, 147
Толочанов А. 70, 137
Трубачев С. 187
Трубецкой А.Н. 71, 89
Трубчанинов М. 179
Тургенев И. 80
Турский В. 173, 188
Тырков М. 190
Тюнен И.Г. 6

**Уорнтц В.** 5
Урусов 210
Ушаков С. 187

**Федор Алексеевич** 177, 208
Федор Иванович 53, 199
Федоров А. 83
Фефилов С. 23, 191
Филарет 223
Фофанов Ф. 100, 139

**Хабаров** 47
Хаггет П. 6-7
Харламов М. 74, 83, 85
Хартшорн Р. 5
Хилков И. 148
Хитрово И. 199

**Черкасов Д.** 62
Черкасова А.С. 217
Черкасский П. 70, 165
Черниговский 47
Чулков Д. 71

**Шаповалов В.И.** 10
Шарыгин Г. 180
Шарыгин С. 54
Шульгин И. 109
Шульгин Я. 222
Шунков В.И. 45, 54, 123-124, 127, 141, 146, 171, 185

**Щапов А.П.** 117, 140

**Юрьев Д.** 82
Юшков Д. 56

**Янов Ф.** 164

## УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

**Абалак,** река 143
Абуга, река 63, 66, 75, 105, 203
Адбашский острог 24, 184
Азия 48
Алят, озеро 184
Антипина, деревня 42
Арамашевская слобода 147
Арамильская слобода 113, 156, 217
Архангельская заимка 142
Астрахань 43
Атбаш, урочище 205-206
Атяш, озеро 186
Аять, озеро 84

**Бабиновская** дорога 194, 198
Бакланская, деревня 156
Балахонский уезд 214
Балдинская, деревня 174
Бардаковка, река 165
Барнева, река 145
Барневская слобода 145, 215
Барымка, река 150
Бегишевы горы 123-124, 178-179, 190
Безсоновская, деревня 176
Белгородская засечная черта 147
Белое Городище 66
Белозерская слобода 156, 183
Белослудская слобода 141, 147
Белоярская (Теченская) слобода 156, 184, 188, 191
Беляковская слобода 187, 215
Березов 70, 87, 92-93, 104, 116, 120, 135, 137-138, 150, 165, 194-195, 199, 221
Березовка, река 179
Березовский уезд 83, 87, 92, 103
Благовещенская слобода 87, 163
Бобровка, река 54, 176
Боровлянское, озеро 192
Буткинская слобода 186

**Вагай,** река 178-179, 186, 190, 205-206
Вагайский острог 184, 205
Вагулка, река 165
Важецкий уезд 214
Варлакова, деревня 156
Введенский Верхотурский мон. 155
Введенское, село 156
Верх-Вагайская волость 86
Верх-Ницынская слобода 45, 77
Верх-Суерская слобода 156
Верхнекаменский острог 208
Верхне-Чусовской острог 208
Верхотурский Николаевский мон. 142
Верхотурский уезд (черта) 33, 44-46, 54, 74, 83-84, 88, 91, 93, 113, 171, 177, 191, 215
Верхотурье 44-46, 56, 59-60, 71-74, 87-88, 91, 100, 103, 107, 120, 123-124, 138, 150, 162-164, 170, 195, 197-200, 206, 208
Верхояицкая пристань 210
Вишера, река 60, 93
Волга, река 52
Вологда 215
Вологодский уезд 214
Волосникова, деревня 156
Воскресенское, село 113, 142, 156
Вымь, река 194

**Голышева,** деревня 156, 174
Городской стан 32

**Далматовский Успенский мон.** 21, 23, 57, 65, 104-105, 110, 113, 142, 171, 180, 184, 187, 190-191, 207-208, 215, 219
Даурия 47
Демьяновская слобода (ям) 150

**Европа** 36
Евтезерей, озеро 179

Екатеринбургская слобода 217
Елец, река 199
Елынка, река 174
Емуртлинская слобода 156
Енисей, река 61
Ершовка, река 24

**Железенское** поселье 110, 113

**Зауралье** 3, 23, 25-27, 47-51, 53, 66-69, 72, 74-75, 79, 95-97, 102-104, 106, 109-111, 116-117, 120-122, 125, 127, 129-130, 137, 140, 142, 148-149, 155-158, 166, 169, 180, 182, 185, 189, 200-201, 203-206, 209, 211, 213-215, 217, 221, 224
Зеленая, река 199

**Ивановская,** деревня 179
Иковская слобода 156, 183, 185
Иоанновский Межигорский Предтечиев мон. 182
Ирбит, река 45, 50
Ирбитская слобода 77, 127, 141, 185
Ирбитское, озеро 192
Ирень, река 56
Иртыш, река 49-50, 93, 143, 150, 166-167, 170, 175, 179, 182, 205, 210
Ирюмская, деревня 174
Исетская слобода (острог) 100, 156, 173, 207, 215
Исетский уезд 174
Исеть, река 21, 33, 66, 75-77, 100-101, 110, 120, 145, 174-175, 184-185, 187-188, 191-193, 207, 213
Исеть, озеро 208
Истоцкая, деревня 156
Ишим, река 75, 77, 203, 206, 210-211
Ишимский острог (застава) 61-62, 86
Ишимский уезд 106

**Казань** 194, 196, 199-200, 206, 208
Казанский уезд 200
Казахстан 47
Калиновская слобода 173, 188
Каменка (Железенка), река 110, 180, 207
Каменская слобода 217
Камышевская слобода 186
Камышенка, река 44
Камышлов, река 61-62
Камышловская слобода 217
Капкайская волость 61-62
Каратабынская волость 76, 203
Караульное, село 198
Каргопольский уезд 214
Карское море 199
Катайская волость 201
Катайский острог 145, 156, 190-191, 206-208, 217
Кашаирская, деревня 156
Кетский острог 98
Киргинская слобода 45, 86, 146, 185
Киртас, река 199
Киртасская застава 199
Киселевская, деревня 176
Китайское государство (Китай) 43
Кода 174
Колугина, деревня 174
Колчеданский острог 10, 156
Комарица, деревня 176
Комарская, деревня 156
Кондинский (Кодинский, Кодский, Коцкий) Троицкий мон. 142, 174-175, 215
Копылова, деревня 42
Коркина слобода 160-161
Космакова, деревня 174
Костромской уезд 215
Коурдацкая волость 62, 86, 202
Кошайское, село 198-199
Красномысская (Красномыльская) слобода 32, 148, 193
Краснослободской дистрикт 215
Красноярская слобода 186, 217
Крутиха, река 184, 188, 192

Крутихинская слобода 191
Крымское ханство 206
Кугаево, озеро 180
Куларовская слобода 205
Куларовский увал 179
Кунар, река 189
Кунгурский уезд 214-215
Кундуска, река 179
Курган 144-145, 156
Курдюмка, река 175
Куринская слобода 156, 207
Куртугуз, озеро 189
Куяровская слобода 215

**Лозьва,** река 60, 93
Ляля, река 91, 198

**Мангазея** 61, 98, 135, 159, 194, 220
Маслянка, река 207
Маслянская слобода 105, 156, 181
Матвеевская, деревня 176
Меньщикова, деревня 156
Мехонский острог 156, 175
Миасс, река 120, 142, 192, 213
Миасская крепость 215
Михайловская, деревня 192
Москва 45, 47, 49-50, 52-53, 56, 60-61, 64, 70, 72-74, 79-81, 87, 89, 91, 98, 100, 113, 123, 138, 151, 153, 157, 163, 165, 194, 206, 221
Московка, река 24
Московская, деревня 156
Московское государство 47-51, 133
Мулгай, река 124
Мурзинская слобода 86-87
Мутная, река 199
Мышенская, река 162

**Нарымский** уезд 73, 78
Невья (Нейва), река 45, 84, 88, 113
Невьянская волость 84
Невьянская слобода (острог) 84, 86, 146
Невьянский Богоявленский мон. 114, 173, 183, 189, 191
Негла (Награ), река 60, 106-107
Нерпина, деревня 156
Нижне-Ницынская (Красная) слобода 45, 77-78, 85, 88, 146, 177, 209
Никольский Верхотурский мон. 153, 155, 181
Ница, река 44, 84, 109, 112-113, 126, 139, 185, 196-198
Ницынская (Ощепкова) слобода 45-46, 86, 103, 147, 181, 185, 189, 198
Новая слобода 45
Новгород 48
Новоишимская (Пресногорьковская) укрепленная линия 161, 211
Новопышминская слобода (Новопышминский острог) 33, 173, 188-191

**Обдорск** (Носовой городок) 120, 137, 199
Обская губа 199
Обская застава 195
Обский городок 167
Обь, река 104, 165, 167, 199
Окуневка, река 192
Окуневская слобода 105
Олешкинская, деревня 179
Омутский форпост 156

**Павда,** река 198
Павдинское, село 198
Пафнутьев мон. 23
Пелым 60, 69, 73-74, 76, 87, 93-94, 120, 125-126, 135, 138, 146, 157, 167
Пелымка, река 69, 76
Пелымский уезд 46, 60, 73, 83, 93, 103, 106, 126
Переяславль-Залесский уезд 214
Пермь 52, 94, 194
Песчанская слобода 156
Петропавловская крепость 211

Печора, река 199
Пиригримка, река 24
Плотникова, деревня 156
Подгородная волость 141
Покровская слобода 177
Покровский Богородицкий Верхотурский (девичий) мон. 155
Покровский Туринский мон. 155
Покровское, село 33, 189
Покчинка, река 106
Полуй, река 199
Поморье 194, 197
Предеина, деревня 156
Преображенский погост 143
Преображенский Верхотурский мон. 155
Преображенский Тюменский мон. 142, 154-155, 176
Приисетье 121
Притоболье Среднее 121
Приуралье 51, 116, 158
Протопоповская, деревня 192
Пускурская волость 75
Пышма, река 33, 66, 76-77, 162, 177, 182, 186-187
Пышминская слобода 162, 181, 183, 186
Пятовская, деревня 179

**Рафайловский Троицкий мон.** 142, 173, 178, 185, 192, 212
Реш (Реж), река 44-45, 54, 84
Роговой городок 195
Рождественский погост 143
Ростес, застава 195, 198-199
Рудная слобода 45, 109, 113
Русское государство (Русь, Россия) 21, 27-29, 31-32, 34, 37, 48-51, 53, 60, 63, 75, 79, 93, 98, 108, 110-112, 121, 127, 129-132, 136, 139, 141, 146-147, 152, 164, 175, 179-180, 197-198, 200, 205-207, 214-215, 221, 223

**Салтасарайская** слобода 156
Самаровская слобода 150-151
Саранский уезд 215
Св. Петра крепость 211
Серпуховский уезд 214
Сибирская губерния 23, 214
Сибирское царство 49-52
Сибирь 19, 39-41, 43, 46, 48-53, 60, 68-69, 75, 90, 97-98, 100-102, 113, 116-118, 120, 123, 127, 130-137, 139-141, 143, 150, 153-155, 157, 163-164, 167, 170, 175, 179, 194-195, 197-200, 217-218, 222-223
Силкина, деревня 156
Синара, река 207
Сингирева, деревня 156
Собанина, деревня 156
Собская застава 199
Собь, река 199
Солянка, река 24
Сосьва, река 60, 91-92, 199
Стрелецкий луг 42
Суварыш, река 77
Суерь, река 75-76
Суерский острог 156, 212
Сузгунка, река 176, 179
Сургут 98, 117, 120, 135, 137, 144, 150, 165, 167
Сургутский уезд 102
Сусатка, река 163
Сылва, река 56, 199
Сысерть, река 113

**Таборы** 126-127
Тавда, река 175
Тавдинская слобода 175
Тагил, река 124
Тагильская слобода 88, 146
Тагильский Рождественский мон. 155
Тазовская губа 199
Тайменка, река 176
Тамакульская слобода 33, 186, 191
Тара 65-66, 79, 108, 138, 208, 218
Тарханка, река 207
Тарханский острог 156, 205, 208
Тахтанская волость 76

Тахчеи 50
Тебендинская волость 62, 86
Тебенякская слобода 156
Терентьева, река 176
Терпугово, деревня 156
Терсюк, река 207
Терсюцкая слобода 156, 208
Теча, река 184, 188, 190
Тобол, река 50, 65, 75-76, 84, 105, 108, 120, 144, 158, 166, 174, 180-181, 183, 202, 204-205, 207, 210
Тоболо-Ишимское междуречье 161-162, 211
Тобольск 39, 43, 45, 62-63, 71-72, 76-81, 87-89, 93, 98, 103, 108-109, 113, 120, 125, 132, 139, 143-144, 147, 150, 154, 159, 164, 166, 170, 175, 197, 199-200, 205-208, 212, 221
Тобольская губерния 216
Тобольская округа 24
Тобольский Знаменский мон. 24, 123-124, 178-179, 186, 190
Тобольский уезд 45, 63, 111, 143, 154, 171, 177, 186, 205, 207
Тобольский Успенский (девичий) мон. 182
Тобольское наместничество 112
Тогузак, река 66, 75
Томск 98, 150-151
Томский уезд 73, 78
Тотемский уезд 215
Тура, река 124, 138, 163, 165-166, 174, 176, 205
Туринск (Япанчин, Епанчин, Туринский острог) 44-46, 72-73, 75, 81, 83-84, 86, 94, 100, 109, 124, 138-139, 144, 150, 154, 164-165, 196-198, 221-222
Туринская слобода 124
Туринский Николаевский мон. 174
Туринский уезд 44-45, 54, 61, 66, 84, 87, 109, 111, 197
Тюменка, река 150, 165-166
Тюменский Святотроицкий мон. 173
Тюменский уезд 46, 61, 75, 85, 111, 171, 173, 175-176, 197
Тюменский Успенский (девичий) мон. 182
Тюмень 56, 58, 61, 65-67, 71-73, 75-80, 83-86, 88-89, 102, 108, 120, 138, 146, 150, 154, 158, 165, 170, 172-173, 187, 196, 200-201, 203, 206, 208, 218, 221

**Увелька,** река 219
Углич 32
Уй, река 66, 105, 180, 203
Уйская укрепленная линия 211, 213
Уйское поселье 65, 104, 180
Ук, река 178
Уковская заимка 178, 212
Урал (Уральские горы, Камень) 48-49, 102, 109-111, 113-114, 124, 140, 180, 194, 199, 214, 222
Уса, река 199
Успенское, село 156
Усть-Ницынская слобода 175
Усть-Суерская слобода 156, 211
Устюжский уезд 214
Утеш, озеро 61, 85
Уткинская слобода 217
Утяцкая, деревня 156
Утяцкая слобода 156
Утяцкий форпост 159-161
Уфа 90, 196, 206
Уфимский уезд 90, 196, 201

**Хакасия** 47

**Царево Городище** (Царев Курган) слобода 145, 156, 180, 183, 210

**Чебаркульская** крепость 214-215
Челнокова, деревня 156
Челябинская крепость 57, 215
Чердынский уезд 214
Чердынь 51
Черемхова, деревня 156
Чернолуцкая слобода 159-160

Черноярская, деревня 184
Чимеева, деревня 156
Чубаровская слобода 45, 62, 74, 83, 86, 146, 159, 185, 197-198, 221-222
Чумляцкая слобода 156
Чунеева, деревня 156
Чусовая, река 207
Чусовская слобода 198, 208

**Шадринская** слобода 33, 156, 193, 207, 213, 215
Шадринский дистрикт 215
Шангинская, деревня 179
Шанталык, река 179
Швеция 110
Шестакова-Шапошникова, деревня 179
Шилей, река 179
Шкоцкая, деревня 156
Шмаковское, село 156
Шутиха, река 190

**Щучье,** озеро 176
Щучья, деревня 174

**Югра** (Югорская земля) 39, 47-49
Юрлова-Третьякова, деревня 179
Юрьевец-Поволжский уезд 215

**Яик**, река 213
Якимовская, деревня 179
Ялуторовская слобода 156, 207, 212
Ямская слобода 150
Ямыш, озеро 62, 107
Ярославский уезд 215

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

**ВИ** – Вопросы истории
**ДАИ** – Дополнения к Актам историческим
**ПСЗ РИ** – Полное собрание законов Российской империи
**РГАДА** – Российский государственный архив древних актов (Москва)
**РГВИА** – Российский государственный военно-исторический архив (Москва)
**СГГД** – Собрание государственных грамот и договоров
**ТФ ГАТюО** – Тобольский филиал государственного архива Тюменской области
**УИВ** – Уральский исторический вестник
**ШФ ГАКО** – Шадринский филиал государственного архива Курганской области

# СОДЕРЖАНИЕ

**Введение** ……..…… **3**

**1. Колонизующий социум и пространство:**
**теоретико-методологические аспекты** …… **4**
1.1. Организация населения в геопространстве:
основные модели и границы их применимости …… 4
1.2. К вопросу о характере воздействия
географической среды на социум ……...…… 8
1.3. К теории колонизационных процессов:
общество и его информационно-семиотический контекст …… 11
1.4. Общество колонизующее:
экспансия, диссипация и репродукция целостности …… 17

**2. Особенности репрезентации географического пространства**
**в Русском государстве в XVI–XVII веках** …… **21**
2.1. Межевые документы: проблема интерпретации …… 21
2.2. О семантике слова «чертеж» в допетровской Руси:
к проблеме степени развития русской картографии в XVI–XVII веках … 29
2.3. Способы отображения геоинформации и управление колонией ..... 38
2.4. Восприятие географического пространства
и межуездные взаимоотношения …… 44

**3. Административное освоение Зауралья в XVI – середине XVIII в.** …… **47**
3.1. Русское административное освоение Зауралья
в доколонизационный период ……...…… 47
3.2. Русское административное освоение
и местное (инородческое и кочевое) население …… 53
3.3. Мир оседлости и кочевая угроза
(Зауралье в конце XVI – середине XVII века) …… 67

**4. Хозяйственное освоение Зауралья в XVI – середине XVIII в.** …… **95**
4.1. Промысловое освоение …… 95
4.2. Промышленное освоение …… 108
4.3. Аграрное освоение …… 116

**5. Формы компактного размещения населения**
**(поселения и поселенческие комплексы)** …… **129**
5.1. Колонизация и поселенческая номенклатура …… 129
5.2. Факторы организации и функционирования поселений …… 155
5.3. Локальные территориально-административные
поселенческие комплексы …… 168
5.4. Пространственные характеристики
и взаимоотношения локальных поселенческих комплексов …… 182

**6. Колониальные коммуникации**
**(территориальная и информационная связность)** …… **194**
6.1. Фильтры на внутренних коммуникациях …… 194
6.2. Фильтры на внешних коммуникациях …… 200

6.3. Коммуникации как фактор территориальной специализации ……..... 213
6.4. Особенности осуществления
информационного обмена в колонии …….…… 218

**Заключение ……..……..…… 224**

**Именной указатель ……..……..……..….. 225**

**Указатель географических наименований ……..……..…… 228**

**Список сокращений ……...……..……..…… 234**

Научное издание

Пестерев Вячеслав Викторович

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОЛОНИЗУЕМОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ ЗАУРАЛЬЯ
КОНЦА XVI – СЕРЕДИНЫ XVIII ВВ.)

Монография

Редактор Н.Л. Попова


| | | |
|---|---|---|
| Подписано к печати 11.03.05. | | Бумага тип. №1 |
| Формат 60×84 $^{1}/_{16}$ | Усл. печ. л. 13,0 | Уч.-изд. л. 13,0 |
| Заказ 64 | Тираж 100 | Цена свободная |

Редакционно-издательский центр КГУ
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25
Курганский государственный университет